



К 200-летию со дня рождения

М. Ю. Л е р м о н т о в

**СЕНТЕНЦИИ, МАКСИМЫ,
РЕФЛЕКСИИ**

МОСКВА – 2011 г.

Аннотация

М.Ю.Лермонтов (1814 – 1841 гг.) – великий русский поэт, одна из абсолютных вершин русской поэзии. Завораживающая красота его стихов и безупречное совершенство формы давно снискали заслуженное признание не только в нашей стране, но и во всём мире. Также по достоинству оценена его проза: Лермонтов – один из величайших русских стилистов, его мастерство как прозаика высоко ценили все выдающиеся мастера русской прозы.

Несколько менее он известен как оригинальный и самобытный мыслитель. Данный сборник лермонтовских афоризмов представляет собой уникальную попытку осмысления его творческого наследия как некой философской системы. Искушённый читатель легко убедится, что наш великий поэт теперь заслуживает также и того, чтобы стоять в одном ряду с такими блистательными умами, как Шамфор, Шопенгауэр, Леопарди и Гартманн.

Чтобы обеспечить книге в преддверии 200-летия со дня рождения поэта международный резонанс, лермонтовские афоризмы и сентенции представлены не только в русском оригинале, но и в переводах на 5 европейских языков – французский, немецкий, итальянский, английский и испанский. Книга, безусловно, интересна для каждого вдумчивого и взыскующего истины читателя.

© Общая концепция, составление, редакция, а также перевод (частично):
П.А.Гелева, 2011г.

ВСТУПЛЕНИЕ

Лермонтов! Одна из абсолютных вершин русской поэзии!

Лермонтов!! Заораживающая красота стиха, безупречное совершенство формы, сила и глубина всё постигающей мысли.

Лермонтов!!! Тонкий наблюдатель и психолог, виртуозный искатель-новатор, борец за свободу и человек-загадка.

О красоте и безупречности формы лермонтовских стихов и прозы [и это, как ни парадоксально, справедливо даже в двух хрестоматийных промахах – одна грамматическая ошибка («из пламя и света») и один сбой ритма (в начале второй строфы стихотворения «Волны катятся одна за другою...») за прошедшие два века сказано предостаточно, но, как глубокий и тонкий мыслитель, Лермонтов, на наш взгляд, должной оценки так ещё и не получил.

Стараясь исправить сие досадное упущение, мы и выпускаем в свет настоящую книгу, в которой стремимся собрать *всё*, что было написано и опубликовано нашим загадочным поэтом и образцовым прозаиком в жанре афоризма и рефлексии на языке оригинала, а также, по мере своих скромных сил, и то, что нам удалось собрать или сделать на «основных» языках Европы: французском, немецком, итальянском, английском и испанском. Последнее прилагаем, дабы обеспечить книге в преддверии 200-летия со дня рождения поэта международный резонанс.

Не спорим, многое в томе сем выглядит весьма мрачно, но это не лишает мысли их достоинств и тем более не является указанием на их ошибочность.

В трагическом взгляде на вещи, ничуть не менее, чем в комическом, доля истины равно присутствует. Философия пессимизма имеет право на существование ни в коей мере не меньше, чем любая другая. Достаточно вспомнить её общепризнанные и прекрасные образцы: Шамфор, Леопарди, Шопенгауэр. Лермонтов – славный русский представитель в этом избранном обществе. И с публикацией данного сборника – более, чем когда-либо прежде.

Лермонтов прожил короткую и трагичную жизнь. Что делать! Жизнь большого художника в мире неизбежно трагична. Примерам этим несть числа. Судьба предоставляет человеку те или иные таланты отнюдь не на безвозмездной основе и к тому же на весьма ограниченное время.

Участь великого ума поистине незавидна. Почему? Потому что от остальных людей его отделяет бездна!

Различие в складе ума значит очень многое. В самом деле, ум философа – это одно, ум учёного – другое, ум художника – третье, а вот умы политика, махинатора, делеги, жулика – нечто совершенно иное. Но обыватель этих оттенков не чувствует, для него всякий ум завиден, ибо его собственный нуль – всего лишь точка отсчёта на умственной шкале. Он считает всех умных людей *почтенными*. Хотя у него и есть свои *предпочтения*. Именно: умы второго сорта ему понятнее и ближе, так как их

полезность ему вполне очевидна. Поэтому ум деляги внушает ему куда большее уважение, чем ум действительно умного человека. А стало быть, судьба опального банкира волнует его куда больше, чем бедственное положение людей, составляющих «соль земли».

В целом лермонтовский текст подвергся незначительным, но неизбежным в таких случаях редактированию и даже реструктуризации в целях приведения его в большее соответствие законам афористического жанра. По этой же причине и ради сохранения единообразия в облики текста стихи вынужденно представлены у нас как проза, что, разумеется, предъявляет определённые требования к читателю. Но мы нисколько не сомневаемся в его компетенции и верим, что он справится с этой ничтожной трудностью. И пусть никто не посчитает указанную необходимость каким-то «святотатством».

Скажем откровенно: автору настоящего сборника не хотелось бы иметь облик ещё одного учёного-лермонтолога (хотя он, естественно, высоко ценит их труды и исследования). Поэтому книга лишена даже малейшего намёка на то, что могло бы выглядеть «научным аппаратом» или его подобием.

Мы прямо говорим: научное значение нашей работы ничтожно. Но это не её недостаток, а именно её достоинство. Мы не даём отведать читателю того, что можно было бы назвать «академическими консервами». Мы предлагаем ему, напротив, *живую* мысль самого Лермонтова.

Всё это оказалось возможным только благодаря принципиально новому подходу, применённому при создании книги. Книга сия – плод некоего *процесса интеллектуальной алхимии*, она – *создание искусства*, а не труд учёного или остроумные выкладки эрудита.

Надо сказать, что у автора-составителя свои счёты и отношения с Лермонтовым. Никто не надоумливал его предпринять подобный труд, никак не поощрял в работе и не оказывал какой-либо помощи. Это добровольная дань уважения и воздание по заслугам.

Ложная скромность – черта дурная во всех отношениях, а здесь она неуместна более, чем где-либо. Поэтому мы можем смело заявить: только появление этой книги придаёт живой и трепетный смысл торжествам по случаю 200-летия со дня рождения поэта. Без неё юбилей этот был бы как свадьба без новобрачной, как брачная ночь без невесты.

П.А. Гелева

*14 февраля 2011 г.
Москва, Большая Молчановка,
в 197 шагах от дома, где создавались «Демон»,
«Испанцы», «Литвинка», «Сашка» и пр.*

P.S. И, пожалуй, лучшим завершением этого вступления будет публикация (*впервые!*) стихов Н.И. Ушакова (1927 – 2006 гг.) – почти забытого, но *большого* русского поэта и баснописца советской поры –, записанных нами под диктовку автора в 70-е годы:

О МЕСТЕ ДУЭЛИ ЛЕРМОНТОВА

Кавказа гордые вершины
Скребнут лазурный небосвод,
За гибель гения поныне
Платьясь слезами бурных вод.

Кто видел место, где мерзавцем
Убит был славный наш поэт?
Тут вечно будут содрогаться
Сердца людей: забвенья нет!

На месте подлого убийства
Он, как угасший метеор,
Застыл в холодном обелиске,
Тая в глазах немой укор.

Поспешно в гроб его толкнула
Неповторимая судьба,
Но муза нам его вернула
Бессмертным светочем ума.

А повесть об ужасной схватке
Хранит Машук в лохматой шапке:
Над нею время не довлеет –
Большое горе не стареет.

Тревожен был Бешту угрюмый
В тот роковой вечерний час,
Как принял смерть страдалец юный,
Спокойно глядя на Кавказ.

Природа гневно разразилась
В ту ночь внезапною грозой,
И тело хладное омылось
Горячей вольною слезой.

В порывах бури Демон властный
Над ним три раза прокружил
И прогремел: «Поэт несчастный,
Ты помнишь, что я говорил?»

Зачем, скажи, ты отдал людям
Весь пламень сердца своего?
Они любить тебя не будут,
Не станут лучше оттого.

Будь гений, подлецы найдутся,
Позорный счёт немал уже.
В надменном скопище безумцев
Не место праведной душе.

Забудь о них, оставь земное.
Душой ты горд и мне сродни.
Как братья полетим с тобою:
Во всей Вселенной мы – одни!»

Поэт в ответ: «Нет, друг печальный,
Лети, как прежде, в путь свой дальний.
Я тот, кто мог людей любить,
Хочу в сердцах их вечно жить.

Мой вещий сон под дубом тёмным
Благословив, отчизна-мать
Мне будет голосом влюблённым
Сны золотые навевать...»

Он жив! О нём в немолчном гуле
Растёт любви народной хор,
И вечно в грозном карауле
Стоят хребты Кавказских гор.

Никто уж глас его печальный
Не вырвет из сердец живых,
Пред ним смущённо умолкает
Шипенье демонов земных.

И если в сердце грусть заляжет –
Послушай тишину вокруг:
И много ещё расскажет
О нём приветливо Машук!

М. Ю. Л е р м о н т о в
**СЕНТЕНЦИИ, МАКСИМЫ,
РЕФЛЕКСИИ**

Во всякой борьбе с людьми или с судьбою душа встречает неопределённое, хотя и истинное наслаждение.

Не всё судьба голубит нас, всему свой день, всему свой час.

В начале жизненного поприща человек часто не знает, каким путём идти ему: путём порока или глупости. Правда, оба они часто приводят к той же цели.

Где поётся, там и счастливится.

Кто молод летами и душою, в огромной книге жизни он прочёл один заглавный лист, и пред собою он зрит открытым море счастья и зла.

Иди любой дорогой, надейся и мечтай – вдали надежды много.

К чему ходить тропой избитой, свой путь умея пролагать?

Прекрасное намеренье должно осуществиться, цветок не должен увянуть на стебле своём.

Зачем искать условий счастья в былом?

Когда мы чего-нибудь желаем и желание наше исполнится, то нам всегда кажется, что оно исполнилось слишком скоро. Мы лучше любим видеть радость в будущем, нежели в минувшем.

Первое впечатление самое сильное, от первого впечатления зависит всё остальное.

Время – общий разрушитель.

Время всеильно. Даже наши одежды, подобно нам самим, подвержены чудным изменениям.

Время подобно непостоянной и капризной любовнице: чем более за нею гоняешься, чем более стараешься её удержать, тем скорее она покидает тебя, тем скорее изменяет.

Житейские бури поглощают целые годы нашей жизни и, что ещё ужаснее, обрывают чувства человека, как листья с дерева, одно за другим.

Былое печально или весело, смотря по тем мгновениям, когда о нём вспоминаешь.

Вещи делают впечатление на человека, смотря по расположению сердца.

Боже мой! что на свете не забывается?.. и если считать ни во что минутный успех, то где же счастье?

Всё на свете редко стало: есть надежды – счастья мало.

Поверь мне – счастье только там, где любят нас, где верят нам!

И то сказать: каждому свой черёд; счастье – женщина: коли полюбит вдруг сначала, так разлюбит под конец.

Утештесь: не всё горе, не всё печаль на свете.

В нашем сердце есть великий источник блаженства, умейте только почерпать из него.

Скверная привычка – рассматривать со всех сторон, анатомировать каждую крошку горя, которую судьба нам посылает. Учись презирать неприятности, наслаждаться настоящим, не заботиться о будущем и не жалеть о минувшем.

Всё привычка в людях, а в ином из нас больше, чем в других. Зачем не отстать, если видишь, что цель не может быть достигнута. Нет! вынь да положь. А кто после терпит?

Право давности – священнейшее из всех прав человечества.

Всему своё время. Выше лба уши не растут.

Ни скучно, ни весело, когда всё идёт своим чередом.

День беды пройдёт, а что пройдёт, то будет мило...

Молодость – это такой порок, от которого всякий день мы исправляемся.

Ведь это иногда бывает: кто в детстве рассуждал, тот в старости мечтает. Ты ж будь всё тот, каков и был.

Юношеские мечтания такие чудные, особенно в воспоминании.

Счастлив ребёнок! и в люльке просторно ему: но дай время сделаться мужем, и тесен покажется мир.

В первой молодости своей человек может быть мечтателем; он любит тогда ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисует ему беспокойное и жадное воображение. Но что от этого ему останется? Одна усталость, как после ночной битвы с привидением, и смутное воспоминание, исполненное сожалений.

Зачем губить нам нашу младость, зачем стареть душой своей, прости навек тогда уж радость, когда исчезла с юных дней.

Есть души, которым рано всё понятно.

Давным-давно задумал я узнать, прекрасна ли земля, узнать, для воли иль тюрьмы на этот свет родимся мы.

Мало ли людей, начиная жизнь, думают кончить её, как Александр Великий или лорд Байрон, а между тем целый век остаются титулярными советниками?

Зачем человек живёт? для какой цели он рождается? А, верно, она существует, и, верно, назначение ему высокое, потому что в душе своей он чувствует силы необъятные. Беда, если он не угадал этого назначения и увлёкся приманками страстей пустых и неблагодарных. Из горнила их он выйдет твёрд и холоден как железо, но утратит навеки пыл благородных стремлений – лучший цвет жизни.

Кому услышать, тот услышит; а кому не должно слышать, тот не поймёт.

Иной видел много, да знает мало, да и то, что знает, вынужден держать под замочком.

Поступки важнее многих слов.

Всеми средствами должны мы достигать предположённой цели. Я достиг – и умный человек, не удалось – глупец! Так судят люди, большей частью.

Твёрдое намерение человека повелевает природе и случаю.

Всё на свете может поправиться!

Человек, который непременно хочет чего-нибудь, принуждает судьбу сдать: судьба – женщина!

Непоколебимая железная воля не знает ни преград, ни остановок, стремясь к своей цели. Так неугомонная волна день и ночь без устали хлещет и лижет гранитный берег: то старается вспрыгнуть на него, то снизу подмыть и опрокинуть; долго она трудится напрасно, каждый раз отброшена в дальнее море... Но ничто её не может успокоить: и вот проходят годы, и подмытая скала срывается с берега и с гулом погружается в бездну, и радостные волны пляшут и шумят над её могилой!

Каждый должен следовать своему предназначению.

Душа или покоряется природным склонностям, или борется с ними, или побеждает их. От этого – злодей, толпа и люди высокой добродетели.

Постоянство воли необходимо для действительной жизни.

Но так себе неверны мы! – живём, томимся и желаем, а получивши – забываем о том. Уже предмет другой играет в нашем воображеньи и – в непрерывном так томленьи мы тратим жизнь, о Боже мой!

Есть желания, непонятные умам посредственных людей.

Земная пища часто не должна ласкать того, кто пищею духовною владеет.

Какое блаженство разом обнять душою всю суетную жизнь,
все мелкие заботы человечества, смотреть на мир – с высоты!

Под ношей бытия не устаёт и не хладеет гордая душа; судьба
её так скоро не убьёт, а лишь взбунтует; мщением дыша против
непобедимой, много зла она свершить готова, хоть могла составить
счастье тысячи людей: с такой душой ты Бог или злодей!

Клятва благородного человека неизменна, как воля Творца.

Укор невежд, укор людей души высокой не печалит; пускай
шумит волна морей, угёс гранитный не повалит! Его чело меж
облаков, он двух стихий жилец угрюмый, и, кроме бури да громов,
он никому не верит думы.

В самом деле, что может противустоять твёрдой воле
человека? Воля заключает в себе всю душу; хотеть – значит любить,
ненавидеть, сожалеть, радоваться, – жить, одним словом.

Воля есть нравственная сила каждого существа, свободное
стремление к созданию или разрушению чего-нибудь, отпечаток
божества, творческая власть, которая из ничего созидает чудеса.

О, если б волю можно было разложить на цифры и выразить в
углах и градусах, как всемогущи и всезнающи были бы мы!

Воля истощается от выжидания.

Всё тот же ты – и бесконечность, как мысль, ты можешь
пролетать и можешь взором измерять лета, века и даже вечность.

Душе всё внешнее подвластно!

Небо заплатит за будущее в настоящем тому, кто имеет
сильную душу, которая не заботится о неизбежном и по крайней мере
хочет жить – пока жизнь светла.

Умей отважно пользоваться всем и не проси никак
вознагражденья!

К чему толпы неблагодарной мне злость и ненависть навлечь,
чтоб бранью назвали коварной мою пророческую речь?

Поверьте, благородство не в бумагах, а в сердце.

Есть чувство правды в сердце человека, святое вечности зерно:
пространство без границ, течение века объемлет в краткий миг оно.

Иметь душу в душе – великое свойство!

Ум и душа, показываясь наружу, придают чертам жизнь, игру
и заставляют забыть их недостатки.

Великие души имеют особенное преимущество понимать друг
друга; оне читают в сердце подобных себе, как в книге, им давно
знакомой; у них есть приметы, им одним известные и тёмные для
толпы; одно слово в устах их иногда целая повесть, целая страсть со
всеми её оттенками.

Святое право прощать покупается страданием.

Только счастье ослепить умеет мысли и желанья, и сном никак
не может быть всё, в чём хоть искра есть страданья!

Забвеньё равно неумолимо к минутам и столетиям. Если б
меня спросили, чего я хочу: минуту полного блаженства или годы
двусмысленного счастья... я бы скорей решился сосредоточить все
свои чувства и страсти на одно божественное мгновенье и потом
страдать сколько угодно, чем мало-помалу растягивать их и
размещать по нумерам в промежутках скуки или печали.

Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недуг
исчезнет при слове рассудка; и жизнь, как посмотришь с холодным
вниманьем вокруг, такая пустая и глупая штука!

Душе высокой не довольно остатков юности своей.
Вообразить ещё ей больно, что для огня нет пищи в ней. Такие люди
в жизни светской почти всегда причина зла, какой-то робостию
детской их отзываются дела.

Ни слава, ни счастье от наук не зависят нисколько, потому что самые счастливые люди – невежды, а слава – удача, и чтоб добиться её, надо только быть ловким.

Ни здания, ни просвещение, ни старина не имеют влияния на счастье и весёлость.

Борьба рождает гордость. Воевать с людскими предрассудками труднее, чем тигров и медведей поражать иль со штыком на вражьей батарее за белый крестик жизнью рисковать.

Клянусь, иметь великий надо гений, чтоб разом сбросить цепь предубеждений.

Страх видеть истину, он есть миллион сомнений!

Но кто знает наверное, убеждён ли он в чём или нет?.. и как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка!

И всё-таки себя в числе двуногих мы чтим умнее очень многих.

Богатство не есть счастье, но всё-таки оно ближе к нему, нежели бедность; нет ничего безвкуснее, как быть довольну своей судьбою в скромной хижине за чашкою гречневой каши.

Нищета – душа порока и преступлений.

Нищие ползают, подобно червям, у ног богатства; у них нет ни родных, ни отечества, они, кажется, созданы только для того, чтобы упражнять в чувствительности проходящих! Но люди ко всему привыкают...

Если б все люди побольше рассуждали, то убедились бы, что жизнь не стоит того, чтоб о ней так много заботиться.

Если Бог сохранил нас доселе, то это значит, что Он хочет быть нашим спасителем и далее.

Есть сумерки души во цвете лет, меж радостью и горем полусвет; жмёт сердце безотчётная тоска; жизнь ненавистна, но и

смерть тяжка. Чтобы спастись от этой пустоты, воспоминаньем или игрой мечты, умножь одно или другую ты.

Как беден тот, кому судьбина, дав и влюбчивый и своевольный нрав, позволила узнать подробно мир, где человек всегда гоним и сир, где жизнь – измен взаимных вечный ряд, где память о добре и зле – всё яд, и где они, покорствуя страстям, приносят только сожаленье нам!

Наполнить хочешь жизнь, а бегаешь страстей. Всё хочешь ты иметь, а жертвовать не знаешь; людей без гордости и сердца презираешь, а сам игрушка тех людей.

Повсюду зло – везде обман, и ты, ты сам, среди всего, как истукан!

Ты мог быть счастлив, но блаженства искал в забавах ты пустых, искал ты в людях совершенства, а сам – сам не был лучше их.

Обманы, ложь, коварство – всё ужасно, вот всё, на чём вертится свет.

Всё взаимно в этом свете.

В мире всё из рук в другие переходит.

Что отнял Бог, того не отдадут нам люди. А что люди взяли, то может возвратить одна могила!

Что плакать о прошедшем, когда о теперешнем не наплачешься?

Человек без настоящего и без будущего, с одним прошедшим, которого никакая власть не может воротить, есть человек полуживой, есть одна тень.

Кто стал на свете сирота, душа его теперь пуста.

Я презираю этот мир ничтожный, где жизнь – измен взаимных вечный ряд, где радость и печаль – всё призра́к ложный! Где память о добре и зле – всё яд! Где льстит нам зло, но более тревожит, где

сердца утешать добро не может; и где они покорствуя страстям, раскаянье одно приносят нам.

Есть сумерки души, несчастья след, когда ни мрака в ней, ни света нет. Она сама собою стеснена, жизнь ненавистна ей и смерть страшна; и небо обвинить нельзя ни в чём, и как назло, всё весело кругом! В прекрасном мире – жертва тайных мук, в созвучии вселенной – ложный звук, она встречает блеск природы всей, как встретил бы улыбку палачей приговорённый к казни! И назад она кидает беспокойный взгляд, но след волны потерян в бездне вод, и лист отпавший вновь не зацветёт!

Есть демон, сокрушитель благ земных, он радость нам дарит на краткий миг, чтобы удар судьбы сразил скорей. Враг истины, враг неба и людей, наш слабый дух ожесточает он, пока страданья не умчат как сон всё, что мы в жизни ценим только раз, всё, что ему ещё завидно в нас!

Быть злодеем, и случайно, – злодеем потому, что жизнь – венец терновый, тяжкий, – так, по крайней мере, должны мы рассуждать по нашей вере.

К чему, куда ведёт нас жизнь, о том не с нашим бедным толковать умом; но исключая два-три дня да детство, она, бесспорно, скверное наследство.

Здесь носит всё печать презренья, здесь меж людей, с давнишних лет, ни настоящего мученья, ни счастья без обмана нет.

Мысль в уме, подавленном тоской, кидает свет бессильный и пустой.

Холодный ум, среди мрачных дум, не тронут слёзы красоты. Всё проклял он, как лживый сон, как призрак дымных мечты.

К чему мятежное роптанье, укор владеющей судьбе? Она была добра к тебе, ты создал сам своё страданье. Бессмысленный, ты обладал душою чистой, откровенной, всеобщим злом не зараженной, и этот клад ты потерял!

Ужасно разочароваться окончательно во всём том, что в жизни заставляет нас двигаться вперёд!

Как беден тот, кто видит, наконец, своё ничтожество и в чьих глазах всё, для чего трудился долго он, – на воздух разлетелось...

В грядущем счастья так мало! А былое бесполезно нам.

На жизни кто своей узнал печать проклятья, тот холодно закрыл объятья для чувств и счастья земли.

Земля – гнездо разврата, безумства и печали! Всё, всё берёт она у нас обманом и не дарит нам ничего – кроме рожденья. Проклятье этому подарку!

Природа подобна печи, откуда вылетают искры. Природа производит иных умнее, других глупее; одни известны, другие неизвестны. Из печи вылетают искры, одни больше, другие темнее, одни долго, другие мгновенья светят; но всё-таки оне погаснут и исчезнут без следа; подобно им последуют другие также без последствий, пока печь погаснет сама: тогда весь пепел соберут в кучу и выбросят; так и с нами.

Пушай эти гвоздики, фиалки унесёт ближний поток, как некогда время унесёт твою собственную красоту. Как, ужели эта мысль ужасна, ужели в столько столетий люди не могли к ней привыкнуть, ужели никто не может пользоваться всею опытностью предшественников?

Дым, как известно, имеет свойство увеличивать предметы.

Не всё на свете забывается: есть вещи, которых забыть невозможно... особенно горести.

Всё равно, страдал ли я, веселился ли – всё умру. Не останется у меня никакого воспоминания о прошедшем. Безумцы! безумцы мы! Желаем жить, как будто два, три года что-нибудь значат в бездне, поглотившей века; как будто отечество или мир стоят наших забот, тщетных, как жизнь.

Счастлив умерший в такое время, когда ему нечего забывать: он не знает этих свинцовых минут безвестности. Счастлив, кто, чувствуя тягость бытия, имеет довольно силы, чтоб прервать его.

Душа иная мрачна и глубока, как двери гроба; чему хоть раз
отворится она, то в ней погребено навеки!

Картины прежнего счастья пролетают, как лёгкое дуновение,
как листья, сорванные вихрем с берёзы, мелькая мимо нас,
обманывают взор золотым и багряным блеском и упадают...
Очарованы их волшебными красками, увлечены невероятною
мечтой, мы поднимаем их, рассматриваем... и не находим ни красок,
ни блеска: это простые, гнилые, мёртвые листья!

Радости забываются, а печали – никогда.

Зачем цену утраты на земле мы познаём, когда уж в вечной
мгле сокровище потонет, и никак нельзя разгнать его покрывший
мрак?

Гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно.

Оставь же прежние желанья и жалкий свет его судьбе: пучину
гордого познания взамен открою я тебе.

Ни слёз, ни мук не стоит счастье, ложное как звук.

Неполная радость земная достойна ли зависти?

Душе, над которой единая мысль может приобрести
неограниченную власть, следовало бы родиться всемогущей или
вовсе не родиться.

Кто долго преследовал какую-нибудь цель, много для неё
пожертвовал, тому трудно от неё отступить, а если к этой цели
примыкают последние надежды увядшей молодости, то невозможно.

Слишком привязавшись к мечте, мы теряем существенность.

Все люди страстные и упорные, увлекаемые одной постоянной
мыслию, больше всех препятствий стараются избегать убеждений
рассудка, могущих отвлечь их от предположенной цели.

Есть существа, которые на высшей степени несчастья так
умеют обрубить, обточить свою бедственную душу, что она теряет
все способности, кроме первой и последней: жить!

Так жизнь скучна, когда боренья нет. В минувшее проникнув, различить в ней мало дел мы можем, в цвете лет она души не будет веселить. Мне нужно действовать, я каждый день бессмертным сделать бы желал, как тень великого героя, и понять я не могу, что значит отдыхать.

Цветы не растут посреди бунтующего моря; где есть демон, там нет бога.

Куда, седой прелюбодей, стремишь своей ты мысли беги? Кругом с арбузами телеги и нет порядочных людей!

Иной и занят целый век делами, а делом – никогда.

Все почти жалуются у нас на однообразие светской жизни, а забывают, что надо бегать за приключениями, чтоб они встретились; а для того, чтобы за ними гоняться, надо быть взволновану сильной страстью или иметь один из тех беспокойно-любопытных характеров, которые готовы сто раз пожертвовать жизнью, только бы достать ключ самой незамысловатой, повидимому, загадки.

Трудность борьбы увлекает упорный характер.

Есть время – леденеет быстрый ум; есть сумерки души, когда предмет желаний мрачен: усыпление дум; меж радостью и горем полусвет; душа сама собою стеснена, жизнь ненавистна, но и смерть страшна, находишь корень мук в себе самом, и небо обвинить нельзя ни в чём.

Я к состоянью этому привык, но ясно выразить его б не мог ни ангельский, ни демонский язык: они таких не ведают тревог, в одном всё чисто, а в другом всё зло. Лишь в человеке встретиться могло священное с порочным. Все его мученья происходят оттого.

Река поворачивает в сторону, когда встречает возвышенности; так и фортуна поворачивает в сторону, когда на дороге встречает людей с благородными мыслями и возвышенными чувствами.

И с грустью тайной и сердечной я думал: «Жалкий человек! Чего он хочет? Небо ясно, под небом места много всем, но беспрестанно и напрасно один враждует он – зачем?»

Властители вселенной, природу люди осквернят.

Вослед за веком век бежал, как за минутою минута, однообразной чередой над утомлённою землёй. Обломки старых поколений столпились новою толпой живых заботливых творений; но тщетны были для людей отцов и праотцев уроки – у переменчивых людей не изменились пороки: всё так же громкие слова, храня старинные права, умы безумцев волновали; всё те же мелкие печали ничтожных жителей земных смешным казались подражаньем иным, возвышенным страданьям, не предназначенным для них.

Смешно участие в человеке, который жил и знает свет.

Поистине иной повеса взбесил бы иногда любого беса.

Я ненавижу людей, чтоб их не презирать, потому что иначе жизнь была бы слишком отвратительным фарсом.

Весёлый смех и крик последней муки: ликует то и мучится порок! В молитвах у людей мне слышен лишь упрёк, в бреде любви – бесстыдное желанье! Везде во всём – обман, безумство иль страданье.

Печаль эгоиста – одно оскорблённое самолюбие.

Людей узнал ты: состраданья они не могут заслужить; не награждение – наказание последний миг их должен быть. Они коварны и жестоки, их добродетели – пороки, и жизнь им в тягость с юных лет.

Пожелав возненавидеть человечество, станешь только презирать его.

Собрание глупцов и злодеев есть мир, нынешний мир. Ничего не прощают, как будто сами святые.

И прежде презирал уж кто людей, отныне из безумца стал злодей. И чем же мог он сделаться другим, с его умом и сердцем огненным?

Никакая книга не может выучить быть счастливым. О, если б счастье была наука! [тогда б] дело другое!

История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она – следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление.

Мы почти всегда извиняем то, что понимаем.

Гляди же без упрёка на ложный блеск и ложный мира шум, и не ищи причины чужим страстям и радостям своим – так выйдешь ты из светской тины душою бел и сердцем невредим!

Мысль великая хранилась в тебе донныне, как зерно; с тобою в мир она родилась: погибнуть ей не суждено!

Люди с пылким воображением, с умом резким и пронизательным, умеющие смотреть на себя с беспристрастием, обыкновенно преувеличивают свои недостатки.

Лишённый возможности развлекаться обыкновенными забавами детей, ребёнок начинает искать их в самом себе. Воображение становится для него новой игрушкой. Недаром учат детей, что с огнём играть не должно.

Фантастическая любовь к воздушному идеалу – любовь самая невинная и вместе самая вредная для человека с воображением.

Видали ль вы, как хищные и злые к оставленному трупу в тихий дол слетаются наследники земные – могильный ворон, коршун и орёл? Так есть мгновенья, краткие мгновенья, когда, столпясь, все адские мученья слетаются на сердце – и грызут! Века печали стоят тех минут. Лишь дунет вихрь – и сломится лилея; таков с душой кто слабою рождён, не вынесет минут подобных он; но мощный ум, крепясь и каменя, их превращает в пытку Прометей! Не сгладит время их глубокий след: всё в мире есть – забвенья только нет!

Чем реже нас балует счастье, тем слаще предаваться нам предположеньям и мечтам. Родится ль тайное пристрастие к другому миру, хоть и там судьбы приметно самовластие, мы всё свободнее

дарим ему надежды и желанья; и украшаем, как хотим, свои воздушные создания!

Когда забота и печаль покой душевный возмущают, мы забываем свет, и вдаль душа и мысли улетают, и ловят сны, в которых нет следов и теней прежних лет.

Но ум, сомнением охлаждённый и спорить с роком приучённый, не усладить, не позабыть свои страдания желает; и если иногда мечтает, то он мечтает победить! И, зная собственную силу, пока не сбросит прах в могилу, он не оставит гордых дум.

Любопытство, говорят, сгубило род человеческий, оно и поныне наша главная, первая страсть, так что даже все остальные страсти могут им объясниться. Но бывают случаи, когда таинственность предмета даёт любопытству необычайную власть: покорные ему, подобно камню, сброшенному с горы сильною рукою, мы не можем остановиться, хотя видим нас ожидающую бездну.

Кто читает в душе своей, как в открытой книге, тот никогда не может забыть. В самую решительную минуту жизни сердце его так неподвижно, ум свеж, голова холодна, самые обыкновенные чувства у него так мертвы, что, право, он, кажется, мог бы с любым глупцом говорить битый час о погоде.

Страсть, всемогущая страсть разрушает, как буря, одним порывом высокие подмостки рассудка и его старание.

В печальном только сердце может страсть иметь неограниченную власть.

Не верят в мире многие любви и тем счастливы.

В лета надежд не прячут слёз.

Светлая слеза – жемчужина страданья.

Люди, погибшие от недостатка или излишества надежд, – это олицетворённые упрёки Провидению.

Глупец, кто жил, чтоб на диете быть.

Лишь тот блажен, кто может говорить, что он вкушал до капли мёд земной, что он любил и телом и душой!

Что в день рожденья другу пожелать? Учись быть счастливым на разные манеры и продолжай беспечно пировать под сенью Марса и Венеры!

Счастлив, кто мог земным желаньям отдать себя во цвете дней!

Чувствам и веселью казённых не назначено дорог.

Если лучшие свои чувства, боясь насмешки, хоронить в глубину сердца, они там и умрут.

Смело верь тому, что вечно, безначально, бесконечно, что прошло и что настает, обмануло иль обманет.

У человека словно два сердца: одна и та же вещь его радует и огорчает.

Вере тёплой опыт хладный противуречит каждый миг.

И как ни силится воображенье, его орудья пытки ничего против того, что есть и что имеет влияние на сердце и судьбу.

О! видно, что печаль родня нам, людям, когда мы ей скорей веселья верим.

Легко надежда утешает, легко обманывает глаз.

Как часто свет надежды являет то, чего уж нет; и нам хотя не остаётся для утешенья ничего, она над сердцем всё смеётся, не исчезая из него.

Несколько печалей не так опасны, как одна глубокая, к которой прикованы все думы, которая отравляет все чувства одинаковым ядом.

Слёзы, которые могут потопить в одну минуту миллион сладких надежд, истощают душу и отнимают несколько лет жизни.

Напрасные слёзы из глаз не текут.

Плакать! о! это величайшее наслаждение для того, чей смех мучительнее всякой пытки.

Чем для души страдания сильней, тем вечный след их глубже тонет в ней, покуда всё, что небом ей дано, не превратят в страдание одно.

Легче плакать – чем страдать без всяких признаков страдания.

Зачем рыдать? Ко смеху приучать себя нужней: ведь жизнь смеётся же над нами!

Даже человек весёлого нрава невольно замечает, что чужая печаль прилипчива.

Иной так крепко спит, что даже сон другим наводит.

Кто мечтам назначит круг заветный, как словам? И от души какая может власть отсечь её мучительную часть?

Былое счастье будет в тягость твоей душе.

В час ночной воспоминанье приводит к нам минувшего скелет, и оживляет прежние страдания, и топит в них всё счастье прежних лет.

Случалось, с вихрем и грозой носились тучи надо мной; хоть я один в челне моём, вас не боюсь я, дождь и гром! Не так с душою: если в ней кипит опасный бой страстей, ты не мечтай, чтоб он затих, и жалости не жди от них!

Как бы сражаясь с судьбою, мятежной ярости полна, душа, терзанью предана, живёт утратою самою.

Кто полюбил свои мученья, тот их не может разлюбить.

Не все ль блаженства – лишь отравы?

Душой измученною болен ничем не может быть доволен.

Страсти не что иное, как идеи при первом своём развитии: она принадлежность юности сердца, и глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться: многие спокойные реки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачет и не пенится до самого моря.

У того, кто всё перечувствовал, прелесть новизны не украшает его страсти.

Нельзя знать людей и их слабых струн, если целую жизнь заниматься одним собою.

Нет! недостоин бедный свет презренья, хоть наша жизнь минута сновиденья, хоть наша смерть струны порванной звон.

Всё для нас в мире тайна, и тот, кто думает отгадать чужое сердце или знать все подробности жизни своего лучшего друга, горько ошибается. Во всяком сердце, во всякой жизни пробежало чувство, промелькнуло событие, которых никто никому не откроет, а они-то самые важные и есть, они-то обыкновенно дают тайное направление чувствам и поступкам.

Если злобный человек узнал уж зависть, то не может совсем забыть её никак; её насмешливый призра́к и днём и ночью дух тревожит.

Гнев только портит кровь.

Гордости лишь робкий изменяет.

Обиженная гордость повинуется необходимости.

О самолюбие! ты рычаг, которым Архимед хотел приподнять земной шар!

Пыл благородных стремлений – лучший цвет жизни.

Самолюбие, а не сердце, самая слабая часть мужчины, подобная пятке Ахиллеса.

Тот самый человек пустой, кто весь наполнен сам собой.

А ты не знаешь, что такое значит, когда мужчина – плачет! О! в этот миг к нему не подходи: смерть у него в руках – и ад в его груди.

Тридцать лет – возраст силы и зрелости для мужчины, если только молодость его прошла не слишком бурливо и не слишком спокойно.

Чёрные усы и брови, несмотря на светлый цвет волос, – признак породы в человеке, так, как чёрная грива и чёрный хвост у белой лошади.

Что-то доброе и вместе буйное, пылкость без упрямства, весёлость без насмешки – именно таковые лица нравятся женщинам.

Весёлый характер доказывает, что человек очень счастлив, а история счастливых людей не бывает никогда занимательна.

Не размахивать на ходу руками – верный признак некоторой скрытности характера.

Не отвечать на вопрос – примета явная печали.

Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей: человек смеётся, а глаза его – нет? Это признак или злого нрава, или глубокой постоянной грусти.

Если внезапный смех прерывает мрачную задумчивость, то не радость возбуждает его. Этот перелом доказывает только, что человек не может совершенно скрыть чувств своих.

В борьбе с собой, под грузом тяжких дум, невольно будешь молчалив, суров, угрюм.

Не может быть тот счастлив, кто своим присутствием в тягость.

У иного врождённая склонность противоречить. Целая его жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку. Присутствие энтузиаста обдаёт его крещенским холодом, но частые сношения с вялым флегматиком, глядишь, сделали бы из него страстного мечтателя.

Ужасно стариком быть без седин; он равных не находит; за толпою идёт, хоть с ней не делится душою; он меж людьми ни раб, ни властелин, и всё, что чувствует – он чувствует один!

Как бы ловко ни был сшит плащ тщеславия, он никогда не прикрывает совершенно ничтожности.

Где скрывается добродетель, там может скрываться и преступление.

Люди не могут сожалеть о том, что хуже или лучше их.

Иной так убедительно просит, как будто предчувствует отказ.

Никогда не должно отвергать кающегося преступника: с отчаяния он может сделаться ещё вдвое преступнее.

Обида такая пилюля, которую не всякий с покойным лицом проглотить может; некоторые глотают, разжевав наперёд; тут пилюля ещё горьче.

Благодарность! Слово, изобретённое для того, чтоб обманывать честных людей!..

Благодарность – вещь, которая тем боле зависит от цены услуг, и не всегда добро бывает в нашей воле!

Постоянство. Этой добродетелью не хвастаются.

Вообще если человек сам стал хуже, то всё ему хуже кажется.

«Будет и на нашей улице праздник», – жалкая поговорка мелочной ненависти.

Но ведь есть же люди, в которых даже отчаяние забавно!

Пред идолами света не гну колени я свои: не знаю в нём предмета ни сильной злобы, ни любви.

Чинов я не хотел, а славы не добился. Богат и без гроша был скукою томим, везде я видел зло и, гордый, перед ним нигде не преклонился.

Кому всё деньги, деньги и одне деньги, на что ему красота, ум и сердце?

Деньги – царь земли.

Глупому сыну не в помощь богатство.

Ни перед кем я не склонял ещё послушного колена; то гордости была б измена: а ей лишь робкий изменял; и не поникну я главою, хотя б то было пред судьбою!

Подлые души завидуют всему, даже обидам, которые показывают некоторое внимание со стороны их начальника.

Всем быть обязанным, всем жертвовать собою и никого не сметь любить, – о! разве это значит жить?

Кто б знал, как тягостно, как скучно жить для толпы, всегда в её глазах, не сметь ни перед кем открыться простодушно, везде с улыбкою являться на губах!

Кто увидал, что деньги – царь земли, тот им поклонится невольно.

Будь богат непременно, во что бы то ни стало, и тогда ты заставишь это общество отдать тебе должную справедливость.

Человек – карета; ум – кучер; деньги и знакомства – лошади; чем более лошадей, тем скорее и быстрее карета скачет в гору.

Если вам удастся занять собою одну особу, другие незаметно тоже займутся вами, сначала из любопытства, потом из соперничества.

Как прежде люди были просты: они знали только то, чему учились. Ныне, ничему не учась, всё знают.

Поверь: великое земное различно с мыслями людей. Сверши с успехом дело злое – велик; не удалось – злодей.

Когда человек увлекается чувством и воображением, над ним смеются и пользуются его простосердечием.

Шулер имеет разум в пальцах.

Нет худа без добра; вследствие сего положения и карточная игра очень полезна: она многих избавляет от труда делать завещания и платить пошлины.

Пустое сердце бьётся ровно, в руке не дрогнет пистолет.

Тяготит голова плечи богатырские.

Голова кружится от глупостей. Мне кажется, что по той же причине и земля вертится вот уже 7000 лет, если Моисей не солгал.

Что за глупая страсть: оставлять всюду следы своего пребывания. Жалкое тщеславие!

Мысль человека, хотя бы самую возвышенную, стоит ли запечатлевать в предмете вещественном, ради того только, чтоб сделать её понятною душе немногих? Надо полагать, что люди созданы вовсе не для того, чтобы мыслить, раз мысль сильная и свободная – такая для них редкость.

Боюсь таких людей, которые всегда на языке своём имеют: да! и да!

Нигде нет столько подлости и столько нелепого, как в высшем свете.

О, как мне хочется смутить весёлость их и дерзко бросить им в глаза железный стих, облитый горечью и злостью!

Им непонятно, им несродно всё, что высоко, благородно.

Доволен каждый сам собою, не беспокоясь о других, и что у нас зовут душою, то без названия у них!

Восторг толпы и света удивленье, иным заменят счастье легко!

Нет! мир совсем пошёл не так; обиняков не понимают; скажи не просто: ты дурак – за комплимент уж принимают! Всё то, на чём ума печать, они привыкли ненавидеть! Так стану ж «умным» называть, когда захочется обидеть!

По праву мести стал я унижать толпу под видом лести.

Буйным смехом заглушать слова глупцов и дерзко их казнить и, грубо пробуждая их беспечность, насмешливо указывать на вечность.

Нет! вечность для рабов не создана!

О, вечность, вечность! Что найдём мы там за неземной границей мира? Смутный, безбрежный океан, где нет векам названья и числа; где бесприютны блуждают звёзды вслед другим звездам. Зброшен в их немые хороводы, что станет делать гордый царь природы, который, верно, создан всех умней, чтоб пожирать растения и зверей, хоть между тем (пожалуй, клясться стану) ужасно сам похож на обезьяну.

Кланяться закону иль вельможе у нас считается одно и то же.

Все гостинные собачки любят за лакомства, побои и подачки.

Вы, жадною толпой стоящие у трона, Свободы, Гения и Славы палачи! Таитесь вы под сению закона, пред вами суд и правда – всё молчи!.. Но есть и Божий суд, наперсники разврата! Есть грозный суд: он ждёт; он не доступен звону злата, и мысли и дела он знает наперёд. Тогда напрасно вы прибегнете к злословью: оно вам не поможет вновь.

Вам жизнь наскучила! Не странно – жизнь глупца, жизнь площадного волокиты. Утешьтесь же теперь – вы будете убиты, умрёте – с именем и смертью подлеца!

Сам чорт не разберёт, отчего у нас быстрее подвигаются те, которые идут назад.

Старая и жалкая шутка! Но, видно, Русь так уж сотворена, что всё в ней обновляется, кроме подобных нелепостей.

Самая волшебная из сказок у нас едва ли избегнет упрёка в покусении на оскорбление личности!

Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно.

Хитрость и беспечность злобе дань несут.

Бесполезно называть того или иного лицемером – для этого у него не хватает данных: он просто лгун.

Бог справедлив! и мы теперь едва ли не суждены нести печали за все грехи минувших дней.

Век нынешний – блестящий, но ничтожный.

Тот век прошёл, и люди те прошли; сменили их другие.

Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя: богатыри – не вы.

Не правда ли, всегда, что древле, всё лучше было и дешевле?

Заставить говорить об себе легко, но свет два раза сряду не занимается одним и тем же лицом; ему нужны новые кумиры, новые моды, новые романы.

Черни всё пленительно, что ново!

Ветераны светской славы, как и все другие ветераны, самые жалкие созданья.

У всякого свой конёк; иные прельщаются эполетами и золотыми висюльками; другие – плюмажем на шляпе; третьи – серебряными пуговицами на зелёном вицмундире. Некоторые восхищаются благосклонною улыбкою барышни; иные снисходительным взором замужней: последние глупее первых.

Эполеты, аксельбанты – многие и не догадываются, что в наш век эти блестящие вывески утратили своё прежнее значение.

Так приятно исподтишка посмеяться над тем, чего так добиваются и чему так завидуют дураки, – с человеком, который заведомо всегда готов разделить ваши чувства.

По коренным законам общества в танцующем кавалере ума не полагается!

Премудрость нынешнего света не смотрит за предел балета! Балет на сцене – в обществе балет; страдают ноги и паркет, куда как весело, ей-богу. Захочется ль у нас кому в *бомонд* открыть себе дорогу, работы нет его уму, умей он поднимать лишь ногу!

Хороший тон царствует только там, где вы не услышите ничего лишнего, но увы! друзья мои! зато как мало вы там и услышите.

Толпа – нечто смешное и вместе жалкое!

Во всякой толпе мелькают уродливые лица, как странные китайские тени, которые поражают слиянием скотского с человеческим, уродливые черты, которых отвратительность определить невозможно, но при взгляде на них рождаются горькие мысли.

Весёлость толпы – поцелуй Июды! Что-то ужасное созревает под этой весёлостью, подстрекаемой своеволием.

Пусть добродетель в прах падёт, пусть будут все мольбы творцу бесплодны, навеки гений пусть умрёт, – везде утехи есть толпе престонародной.

Вздорная толпа, довольная собою, гордится, прошлое забыв.

Но пред судом толпы лукавой скажи, что судит нас иной и что прощать святое право страданьем куплено тобой.

Грусть в обществе смешна, а слишком большая весёлость неприлична.

Справедливо ли описано у меня общество? – не знаю! По крайней мере, оно всегда останется для меня собранием людей

бесчувственных, самолюбивых в высшей степени и полных зависти к тем, в душе которых сохраняется хотя малейшая искра небесного огня!

Кто оценил свет в настоящую его цену, тот не оскорбляется равнодушием света к себе.

Нет проку в том, кто старых друзей забывает!

Приятели – не всегда друзья.

Приятели в наш век – две струны, которые по воле музыканта издают согласные звуки, но содержат в себе столько же противных.

Как тяжела мысль, что друзья нас забывают.

Дружба теперь уже не чувство, а поношенная маска, которую надевает хитрость, чтобы обмануть простоту или скрыться от пронизательности.

Дружба, как поклон – двусмысленная вещь. Добрый малый – товарищ скучный, тягостный и вялый. Чуть умный – и забавней и сносней, чем тысяча услужливых друзей.

Вот хлопочи, советуй другу: зло за добро – брань за услугу!

Есть престранные люди, которые поступают с друзьями, как с платьем: до тех пор употребляют, пока изнасятся, а там и кинут.

Как старое воспоминание, нам любезен старый друг.

Смешны для меня люди! Ссорятся из пустяков и отлагают час примиренья, как будто это вещь, которую всегда успеют сделать.

Ты приготовишь сам свой ад, отвергнув примиренье.

Намедни я поехал верхом; лошадь не хотела идти в ворота; я её пришпорил, она бросилась, и чуть-чуть я не ударился головой об столб. Точно так и с душой: иногда чувствуешь отвращение к кому-нибудь, принудишь себя обойтись ласково, захочешь полюбить человека... а смотришь, он тебе плотит коварством и неблагодарностью!

Вижу, должно быть жестоким, чтобы жить с людьми: они думают, что ты создан для удовлетворенья их прихотей, что ты средство для достижения их глупых целей.

Поздно или рано слабые характеры покоряются сильным и непреклонным, следуя какому-то закону природы, доселе необъяснимому.

Я к дружбе не способен: из двух друзей один всегда раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признаётся; рабом я быть не могу, а повелевать в этом случае – труд утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать; да притом у меня есть лакеи и деньги!

Но тот, на ком лежит уныния печать, кто, юный, потерял лета златые, того не могут услаждать ни дружба, ни любовь, ни песни боевые!

В те дни, когда уж нет надежд, а есть одно воспоминанье, веселье чуждо наших вежд, и легче на груди страданье.

Без друга лучше дни влачить и к смерти радостней клониться, чем два удара выносить и сердцем о двоих крушиться!

Я к одиночеству привык, я б не умел ужиться с другом; я б с ним препровождённый миг почёл потерянным досугом.

Делись со мною тем, что знаешь, и благодарен буду я. Но ты мне душу предлагаешь: на кой мне чорт душа твоя!..

Скорее сделаю одолжение врагу, чем другу, потому что это значило бы продавать свою благотворительность, тогда как ненависть только усилится соразмерно великодушию противника.

Чтоб не скучать с людьми – то надо приучить себя смотреть на глупость и коварство! Вот всё, на чём вертится свет!

Не имею слишком большого влечения к обществу: надоело! – всё люди да люди, такая тоска, хоть бы черти для смеха попадались.

Эгоист в высшей степени легко слывёт добрым малым, готовым на всякие услуги; он даже женится потому, что всем родным этого хочется.

Как самолюбье веселит наш нрав: так рад кривой, слепого увидав!

Не полагаю особо большого удовольствия быть с вами в компании.

Не знаю ничего глупее комплиментов.

Нет средства от глупцов и музыкальных вечеров.

Когда не знают, что сказать незнакомому человеку, с ним заговаривают с тем участием, которое так похоже на обыкновенную вежливость. И что хуже всего – сказанное тогда неизменно оказывается глупостью.

Презрение! как оно похоже на участие, как эти два чувства близки друг к другу! Как смерть и жизнь!

Вот люди! все они таковы: знают заранее все дурные стороны поступка, помогают, советуют, даже одобряют его, видя невозможность другого средства, – а потом умывают руки и отворачиваются с негодованием от того, кто имел смелость взять на себя всю тягость ответственности. Все они одинаковы, даже самые добрые, самые умные!..

Подслушивать – это дело подлецов.

Спросите у людей – они вам скажут всё, и даже с прибавленьем. Они по пунктам объяснят: кто, с кем и как.

Сказания молвы всё дело перепортят вечно.

И что молва? Глупцов крикливый суд, коварный шёпот злой старухи или два-три намёка в польском иль в кадрили!

Я – та особа, у которой бываю с наибольшим удовольствием. Правда, по приезду я навещал довольно часто родных, с которыми

мне следовало познакомиться, но в конце концов я нашёл, что лучший мой родственник – это я сам.

Бог знает, будет ли существовать это «я» после жизни! Страшно подумать, что настанет день, когда не сможешь сказать: я! При этой мысли весь мир не что иное, как ком грязи.

Думая о близкой и возможной смерти, я думаю об одном себе: иные не делают и этого. Друзья, которые завтра меня забудут или, хуже, взведут на мой счёт Бог знает какие небылицы; женщины, которые, обнимая другого, будут смеяться надо мною, чтоб не возбудить в нём ревности к усопшему, – Бог с ними!

Всё вздор на свете! Натура – дура, судьба – индейка, и жизнь – копейка!

Человек, который ничем не дорожит, ничего и не боится.

Одной капли яда довольно, чтоб отравить чашу, полную чистейшей влаги, и надо её выплеснуть всю, чтобы вылить яд.

Есть тайны, на дне которых яд, тайны, которые неразрывно связывают две участи; есть люди, заражающие своим дыханием счастье других; всё, что их любит и ненавидит, обречено погибели... берегись того и другого.

Суд общего мнения везде ошибочный.

Люди ко всему привыкают, и если подумаешь, то ужаснёшься. Как знать? может быть, чувства святейшие одна привычка, и если б зло было так же редко, как добро, а последнее – наоборот, то наши преступления считались бы величайшими подвигами добродетели человеческой!

Если б люди не менялись, было бы очень скучно.

Есть цветы, которые чем более за ними ухаживают, тем менее отвечают стараниям садовника.

Извольте видеть, как иногда маловажный случай имеет жестокие последствия!

Нас опыт научает в свете не упускать благоприятный случай.

Когда ты хочешь непременно, чтоб что-нибудь не сделали или сделали, то говори, что ты уверен в людях; и самолюбие заставит их исполнить трудное твоё желанье.

Иметь предлог жаловаться – утешение не хуже всякого другого.

Всё то хорошо, чего у нас нет, от этого, верно, и манда нам нравится. Вот самая деревенская философия.

Философ истинный – счастливейший человек в мире, и есть тот, который знает, что он ничего не знает.

Излишества всегда опасны.

Премудрые советы – помни! – не стоят ничего.

Никогда не дорожи людьми, тем боле гордецами.

Быстро устаревают всё, что ново.

Краденый товар осматривают без внимания.

За зло похвал не ожидай, ни за добро вознагражденья.

Где не будет лучше, там будет хуже, а от худа до добра опять недалеко.

Осторожность никогда не мешает.

Известно, что в природе противоположные причины часто производят одинаковые действия: лошадь равно падает на ноги от застоя и от излишней езды.

Всегда вернее верить в дурное, нежели в хорошее.

Никогда сам не открывай своих тайн, пусть их отгадывают, потому что таким образом ты всегда можешь при случае от них отпереться.

Имей правило ничего не отвергать решительно и ничему не верить слепо.

Стыдить лжеца, смеяться над дураком, просить займы у скупца, усовещивать игрока, учить глупца математике, спорить с женщиною – то же, что черпать решетом воду.

Нечаянный удар вслед себе ведёт раскаянье нередко.

Творец не возьмёт добродетельное существо для орудия казни. Честные люди не бывают на земле палачами.

Я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют мне кровь. Быть всегда настороже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерения, разрушать заговоры, притворяться обманутым, и вдруг одним толчком опрокинуть всё огромное и многотрудное здание из хитростей и замыслов, – вот что я называю жизнью.

Люблю врагов внезапно удивлять, на крик и брань – насмешкой отвечать, иль, притворясь рассеянным невеждой, ласкать их долго тщетною надеждой.

Странная вещь сердце человеческое вообще, и женское в особенности!

Чем теплее кровь, тем раньше зреют в сердце беспокойном все чувства – злоба, гордость и любовь, как дерева под небом юга знойным.

Уважение имеет границы, а любовь – никаких!

Нельзя сомневаться, что есть люди, имеющие дар понимать смысл разговора, не разбирая слов, но им воспользоваться может только существо избранное, существо, которого душа создана по образцу их души, которого судьба должна зависеть от их судьбы. И тогда эти два создания, уже знакомые прежде рождения своего, читают свою участь в голосе друг друга, в глазах, в улыбке и не могут обмануться. И горе им, если они не вполне доверяются этому святому таинственному влечению. Оно существует, должно существовать, вопреки всем умствованиям людей ничтожных, иначе душа брошена в наше тело для того только, чтоб оно питалось и

двигалось. Что такое были бы все цели, все труды человечества без любви?

Признаки любви: волнение надежд несмелых и пламень неземной в крови.

Любовь, как огонь, – без пищи гаснет. И ревность делает то, чего не могут сделать просьбы.

Кто устоит против разлуки, соблазна новой красоты, против усталости и скуки и своенравия мечты?

Ужели речь любви похожа на угрозы?

Любовь хитрей, чем ревность или злоба.

Если говорят: одна голова хорошо, а две лучше, зачем не сказать: одно сердце хорошо, а два лучше?

Любовь – везде любовь, то есть самозабвение, сумасшествие, назовите как вам угодно.

Любовь – последняя божественная часть нашей души, и, угасив её, ты не мог бы остаться человеком.

Я не могу любовь определить, но это страсть сильнейшая! – любить необходимость мне; и я любил всем напряжением душевных сил.

Где есть любовь – там жалость уж смешна!

На мячик сердце в нас походит: положи ты на крутой горе его тихонько, и он не тронется – но раз толкнув, за ним хоть бросишься, но не догонишь.

Любовь не смотрит на лета своих печальных жертв.

Все люди мы; и ослепленье страсти, безумное волнение души должны мы прощать, когда мы излечить не в силах.

Страшись любви: она пройдёт, она мечтой твой ум встревожит, тоска по ней тебя убьёт, ничто воскреснуть не поможет.

Любовь, сначала очень обыкновенная, даже не заслуживающая имя страсти, от нечаянного стечения обстоятельств, вдруг берёт да и возрастает в груди до необычайности. Как в тени огромного дуба прячутся все окружающие его скромные кустарники, так все другие чувства склоняются перед этой новой властью, исчезают в её потоке.

О, как сердце умеет обманывать!

Есть люди, у которых опытность ума не действует на сердце, несчастные и поэтические создания. Самый тонкий плут, самая опытная кокетка с трудом могут его проведать, а сам себя он ежедневно обманывает с простодушием ребёнка.

Чувства, страсти, в очах навеки догорев, таятся, как в пещере лев, глубоко в сердце; но их власти оно никак не избежит. Пусть будет это сердце камень – их пробуждённый адский пламень и камень углем раскалит!

Но сердцу как ума не соблазнить? И как любви стыда не победить? Их речи – пламень! вечная пустыня восторгом и блаженством их полна. Любовь для неба и земли святыня, и только для людей порок она! Во всей природе дышит сладострастье; и только люди покупают счастье!

Как путники небесны, облака, свободно сердце, и любовь легка.

Грустно, а надо признаться, что самая чистейшая любовь наполовину перемешана с самолюбием.

Трудно влюбиться в одни душевные качества.

Мы часто себя очень обманываем, думая, что нас женщина любит за наши физические или нравственные достоинства; конечно, они приготавливают, располагают её сердце к принятию священного огня, а всё-таки первое прикосновение решает дело.

В том-то и прелесть любви: она превращает нас в детей; дарит золотые сны как игрушки; и разбивать эти игрушки в минуту досады доставляет немало удовольствия; особенно когда мы надеемся получить другие.

Не верьте сердцу, ни уму, когда они бывают в споре.

Кто много видел, испытал, тому и ревность и любовь не новы.

Всё ясно ревности – а доказательств нет!

Хоть тяжело мучиться любовною загадкой, но часто хуже отгадать.

Тому, кто жить привык беспечно, тому и ревновать смешно.

Иль ты не знаешь, что такое людей минутная любовь? Волнение крови молодое, – но дни бегут и стынет кровь!

Кто всё видел, всё перечувствовал, всё понял, всё узнал, тот любит подругому. Он любит часто, чаще ненавидит и более всего страдает. Сначала хочет всё, потом всё презирает; то сам себя не понимает, то мир его не понимает.

Испорченное сердце (плод страстей), в нём недостатка нет между людей.

Как объяснить сердце молодой девушки: миллион чувствований теснится, кипит в её душе; и нередко лицо и глаза отражают их, как зеркало отражает буквы письма – наоборот!

Вряд ли найдётся молодой человек, который, встретив хорошенькую женщину, приковавшую его праздное внимание и вдруг явно при нём отличившую другого ей равно незнакомого, вряд ли, говорю, найдётся такой молодой человек (разумеется, живший в большом свете и привыкший баловать своё самолюбие), который бы не был этим поражён неприятно.

Любовь, которую мы читаем в глазах женщины, ни к чему её не обязывает, тогда как слова... О, это другое дело!

Кто скоро нравится, об том скоро и забывают.

В такие часы, когда решается судьба наша, мы не тратим лишних слов, потому что дорожим каждым мгновением, потому что

все земные страсти кипят в уме, и одного взгляда довольно, чтоб заставить понять себя.

Самая ненависть ближе к любви, нежели равнодушие.

Разве несколько дней не короче минуты, когда смерть зовёт и любовь потеряла надежду?

Женщины в наш варварский век утратили вполовину прежнее всеобщее своё влияние. Влюбиться кажется уже стыдно, говорить об этом смешно.

Молодые люди смотрят на женщину как на орудие своих удовольствий и ищут в ней тайные совершенства.

Как быть? в нашем бедном обществе фраза: он погубил столько-то репутаций – значит почти: он выиграл столько-то сражений.

Зачем, когда иной бесчувствен как металл, все женщины к нему пылают страстью?

Молодые женщины все так жадно гонятся за соблазнительной, мимолётной славой, и некоторые из них так дорого за неё платят.

Среди сердечного волнения нет сил, нет власти, нет терпенья!

Можно быть совершенно счастливо у сердца нежной женщины, и это блаженство короче всех блаженств.

Любовь молодых, прелестных женских глаз, по редкости, сокровище для нас (так мало дев, умеющих любить); мы день и ночь должны его хранить; и горе! если скроется оно: навек блаженства сердце лишено. Мы только раз один в кругу земном горим взаимной нежности огнём.

Что такое две страсти в целом море равнодушия?

Любви не нужно одной лишь нежности наружной.

Женщины ценят настойчивость в мужчине, хотят, чтоб он сквозь тысячу преград к своей стремился героине.

Женщина цветок, который, если вы его согнёте вдруг, – изломится.

Страх и удивленье для женщин в важных случаях спасенье.

Женщина с характером твёрдым, решительным, холодным, верующая в собственное убеждение, готова принести счастье в жертву правилам, но не молве.

Женщина, только потеряв надежду, может потерять стыд, это непонятное, врождённое чувство, это невольное сознание женщины в неприкосновенности, в святости своих тайных прелестей.

Но сердце, чем моложе, тем боязливее, тем строже хранит причину от людей своих надежд, своих страстей.

Женщины так легко предаются привычкам сердца и так мало думают, к сожалению, о всеобщем просвещении, о славе государств!

Надобно отдать справедливость женщинам: оне имеют инстинкт красоты душевной.

Сострадание – чувство, которому покоряются так легко все женщины.

Разговор влюблённых – один из тех разговоров, которые на бумаге не имеют смысла, которых повторить нельзя и нельзя даже запомнить! Значение звуков заменяет и дополняет значение слов, как в итальянской опере.

Наши грамматики очень ошиблись, когда отнесли слова: доброта, нежность и снисходительность – к женскому роду; а гнев, сумасшествие и капризы – к мужескому и среднему.

Женщины злы, кричит угрюмый философ; женщины несносны, ворчит легкомысленный юноша; женщины скупы, говорит молодой расточитель; женщины неверны, твердит старый муж... Только одни пылкие, ещё не разочарованные любовники уверяют, что женщины сотворены для нашего утешения. Кто в заблуждении?

С тех пор как поэты пишут и женщины их читают (за что им глубочайшая благодарность), их столько раз называли ангелами, что оне в самом деле, в простоте душевной, поверили этому комплименту, забывая, что те же поэты за деньги величали Нерона полубогом.

Женщина на бале совсем не то, что женщина в своём кабинете; судить о душе и уме женщины, протанцевав с нею мазурку, всё равно что судить о мнении и чувствах журналиста, прочитав одну его статью.

О, как сладки эти первые, сначала непорочные, чистые и под конец преступные поцелуи!

Порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело. Она большею частью изобличается в поступи, в руках и ногах; особенно нос очень много значит.

Когда хвалят глаза, то это значит, что остальное никуда не годится.

Прелесть бледности и худобы существуют только в дамском воображении, и мужчины только из угождения потакают их мнению, чтоб чем-нибудь отклонить упрёки в невежливости и так называемой «казармности».

Всякая из наших красавиц хочет жить подольше, а ни одна не желает быть старою: как согласовать сии желания? Какая была бы жестокая борьба внутреннего с наружным, если бы не было вас, блаженные румяна, и вас, чудесные фальшивые пукли.

Вот что значит женщина: она не может видеть лица, которое не уступает ей в красоте!

Понравиться желать – как в этом женщина видна!

Прекрасно, если кто прекрасен! Но разве это даёт право не иметь сердца?

О, поверь мне, холодное слово уста оскверняет твои, как листки у цветка молодого ядовитое жало змеи!

Женщина смеётся над пустыми вздохами глупых любовников.

Натуральная история нынче обогатилась новым классом очень милых и красивых существ – именно классом женщин без сердца.

Иная слишком любезна, чтоб любить.

Намеренье кокетки – помучить.

Тайная надежда женщины – завлечь снова непостоянного поклонника, выйти замуж или хотя отомстить со временем по-своему, по-женски. Женщины никогда не отказываются от таких надежд, когда представляется какая-нибудь возможность достигнуть цели, и от таких удовольствий, когда цель достигнута.

Об чём женщины не плачут? Слёзы их оружие нападетельное и оборонительное. Досада, радость, бессильная ненависть, бессильная любовь имеют у них одно выражение: слёзы.

Любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни; невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой.

Беспокойная потребность любви нас мучит в первые годы молодости, бросает от одной женщины к другой, пока мы найдём такую, которая нас терпеть не может: тут начинается наше постоянство – истинная бесконечная страсть, которую математически можно выразить линией, падающей из точки в пространство; секрет этой бесконечности – только в невозможности достигнуть цели, то есть конца.

Мечты любви умчались, как туман. Свобода стала мне всего дороже. Обманом сердце платит за обман – я так слышал, и вы слышали тоже.

Я презираю женщин, чтобы не любить их, потому что иначе жизнь была бы слишком нелепой мелодрамой.

Была без радостей любовь, разлука будет без печали.

Надо признаться, что я точно не люблю женщин с характером: их ли это дело!

Женщины! кто их поймёт? Их улыбки противоречат их взорам, их слова обещают и манят, а звук их голоса отталкивает. То оне в минуту постигают и угадывают самую потаённую нашу мысль, то не понимают самых ясных намёков.

Ты любишь женщину... ты жертвуешь ей честью, богатством, дружбою и жизнью, может быть; ты окружил её забавами и лестью, но ей за что тебя благодарить? Ты это сделал всё из страсти и самолюбия, отчасти, – чтоб ею обладать, пожертвовал ты всё, а не для счастья её. Да, – пораздумай-ка об этом хладнокровно и скажешь сам, что в мире всё условно.

Что женщине в любви? Победы новые ей нужны ежедневно. Пожалуй, плачь, терзайся и моли, смешон ей вид и голос твоей плачевной. Глупец, кто в женщине одной мечтал найти свой рай земной.

Для чего в первые минуты любви закрыты от нас муки ревности?

Ненужно пролитая кровь уж не воротит женскую любовь!

Вот женщина! Она обнимает одного и отдаёт своё сердце другому!

Кто знает: женская душа, как океан, неисследима!

Нет ничего парадоксальнее женского ума: женщин трудно убедить в чём-нибудь, надо их довести до того, чтоб оне убедили себя сами; порядок доказательств, которыми оне уничтожают свои предубеждения, очень оригинален; чтобы выучиться их диалектике, надо опрокинуть в уме своём все школьные правила логики.

Наряды необходимы счастьем женщины, как цветы весне.

Ах, подарки! чего не сделает женщина за цветную тряпичку!..

Надобно заметить между прочим, что дама дурно одетая обыкновенно гораздо любезнее и снисходительнее, – это, впрочем, вовсе не значит, что она должна дурно одеваться.

Женщины любят только тех, которых не знают.

Женщины, которые обыкновенно осторожнее и скромнее других, в минуты страсти проговариваются.

Жизнь без любви такая скверность; а что, скажите, за предмет для страсти муж, который сед?

Перетерпевши лет удары, когда захочет сокол старый подругу молодую взять, так он не думает, не чувствует, что после будет проклинать. Он всё голубит, всё милует; к нему ласкается она, его хранит в минуту сна. Но вдруг увидела другого, не старого, а молодого. Лишь первая приходит ночь, она без всякого зазрения клевок лишит супруга зренья и от гнезда уж мчится прочь!

Глупец, кто верит женским обещаньям, а пуще женской скромности.

Что для любви слова людей? Что ей небес определенье? Нет! охладить любовь гоненье ещё ни разу не могло; она сама своё добро и зло!

Невинной девушке приятно быть любимой стариком, как старой молодым; затем что пылкость одного бесчувствия другого обыкновенно заменяет!

Даже нелюбящая женщина не терпит, чтобы искали утешения вдали от неё.

Чего женщина не сделает, чтоб огорчить соперницу? Я помню, одна меня полюбила за то, что я любил другую.

Женщины всегда прощают зло, которое мы причиняем другой женщине.

Если человек уже прошёл тот период жизни душевной, когда ищут только счастья, когда сердце чувствует необходимость любить сильно и страстно кого-нибудь, то теперь он только хочет быть

любимым, и то очень немногими; даже, пожалуй, одной постоянной привязанности ему будет довольно: жалкая привычка сердца!

А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет!

Кто сам больше неспособен безумствовать под влиянием страсти и кто чувствует в себе ненасытную жадность, поглощающую всё, что встречается на пути, тот смотрит на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую его душевные силы.

Женщины наполняют пустоты жизни так, как пшено промежутки в виноградном бочонке: пшено ничего не стоит, никуда не годится, а между тем необходимо, чтобы виноград не испортился.

Всё нравится, что молодо, красиво и в чём мы видим прибыль особливо.

У отцветающих кокеток слова и взгляды полны обещаний, а души их подобны выкрашенным гробам притчи. Наружность их – блеск очаровательный, внутри смерть и прах.

Чужое счастье нам скучно, как добродетельный роман.

Боже! Вот беда иметь друзей, которые собираются жениться!

Есть такое скверное, но непобедимое чувство, которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего, чтобы иметь мелкое удовольствие сказать ему, когда он в отчаянии будет спрашивать, чему он должен верить: «Мой друг, со мною было то же самое, и ты видишь, однако, я обедаю, ужинаю и сплю преспокойно и, надеюсь, сумею умереть без крика и слёз!»

Не могу видеть равнодушно этого презрения к счастью ближнего, какого бы роду оно ни было. Все хотят, чтобы другие были счастливы по их образу мыслей – и таким образом уязвляют сердце, не имея средств излечить.

Кто из грязи вышел, тот лезет в золото!

Власть разлучает гордые души, а неволя соединяет их.

Так в наказаниях всегда почти бывает: которые смиренней, на тех падёт вина!

Жизнь побеждённым не награда!

Чем менее кто надеется повелевать, тем ужаснее будет его царствование.

Нет сожаленья у князей: их ненависть, как их любовь, бедою вечною грозит.

Славы нет в войне кровавой с необразованной толпой.

Легко народом править, если он одною общей страстью увлечён; не должно только слишком завлекаться, пред ним гордиться или с ним равняться; не должно мыслей открывать своих или спрашивать у подданных совета, и забывать, что лучше гор златых иному ласка и слова привета!

Легко народом править, если он одною общей страстью увлечён.

Порой властитель, полубог земной, на пышном троне, окружённый льстецов толпою унижённой, грустит о том, что одному на свете равных нет ему!

Я совсем не моралист: ни блага в зле, ни зла в добре не вижу, я палачу не дам похвальный лист, но клеветой героя не унижу, – ни плеск восторга, ни насмешки свист не созданы для мёртвых. Царь или воин, хоть он отличья иногда достоин, но, верно, нам за тяжкий мавзолей не благодарен в комнатке своей и, длинным одам внемля поневоле, зевая вспоминает о престоле.

Честолюбие есть не что иное, как жажда власти.

У кого честолюбие подавлено обстоятельствами, у того оно проявляется в другом виде. Его первое удовольствие – подчинять своей воле всё, что его окружает. Возбуждать к себе чувство любви,

преданности и страха – не есть ли первый признак и величайшее торжество власти?

Быть для кого-нибудь причиной страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, – не самая ли это сладкая пища нашей гордости?

А что такое счастье? Насыщенная гордость. Если б я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив; если б все меня любили, я в себе нашёл бы бесконечные источники любви.

Я люблю сомневаться во всём: это расположение ума не мешает решительности характера – напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперёд, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится – а смерти не минуешь!

У океана есть свой язык, язык сильный, звучный, святой молитвенный!

Все чувства тайной мукой полны; и всякий плакал, кто любил: любил ли он морские волны, или сердце женщинам дарил!

Если можно завидовать чему-нибудь, то это синим, холодным волнам, подвластным одному закону природы, который для нас не годится с тех пор, как мы выдумали свои законы.

Я обожатель их свободы! Как я в душе любил всегда их бесконечные походы Бог весть откуда и куда; и в час заката молчаливый их раззолоченные гривы, и бесполезный этот шум, и эту жизнь без дел и дум, без родины и без могилы, без наслажденья и без мук; однообразный этот звук и, наконец, все эти силы, употреблённые на то, чтоб малость обращать в ничто!

Волны катятся одна за другою с плеском и шумом глухим; люди проходят ничтожной толпою также один за другим. Волнам их воля и холод дороже знойных полудня лучей. Люди хотят иметь души... и что же? – Души в них волн холодней!

В важные эпохи жизни иногда в самом обыкновенном человеке разгорается искра геройства, неизвестно доселе тлевшая в груди его, и тогда он свершает дела, о коих до сего ему не случалось и грезить, которым даже после он сам едва верует.

Идеи – создания органические: их рождение даёт уже им форму, и эта форма есть действие; тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует; от этого гений, прикованный к чиновничьему столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара.

Если человек убивает своё здоровье на службе, начальникам это приятно.

Не меть в умники, чтоб не попасться в дураки!

Всего важнеей последствие; коль к доброму концу деянья наши, то способы всегда уж хороши, какие б ни были.

Без дураков было бы на свете очень скучно.

Умные люди знают заранее, что обо всём можно спорить до бесконечности, и потому не спорят. Они знают почти все сокровенные мысли друг друга; одно слово для них – целая история. Они видят зерно каждого своего чувства сквозь тройную оболочку. Печальное им смешно, смешное грустно, а вообще, по правде, они ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя.

Размена чувств и мыслей между двумя умными людьми быть не может: они знают один о другом всё, что хотят знать, и знать больше не хотят; остаётся одно средство: рассказывать новости.

Умные люди лучше любят слушателей, чем рассказчиков.

Толковать об убеждениях – пустое. Убеждения – это всегда философско-метафизические разности. Какие, собственно, у человека могут быть убеждения? Что до меня касается, то я убеждён только в одном. В том, что рано или поздно, в один прекрасный день я умру. И если у вас, кроме этого, есть ещё убеждение – именно то, что вы в один прегадкий вечер имели несчастье родиться, то, стало быть, вы богаче меня.

Суждения молодых людей, воспитанных в Москве и привыкших без принуждения постороннего развивать свои мысли, резки, полны противуречий, хотя оригинальны.

Когда поспорить вам придётся, не спорьте никогда о том, что невозможно быть с умом тому, кто в этом признаётся.

В споре двух глупцов хоть много шуму, да толку нет.

Хладнокровие мудреца похоже на хладнокровие дуэлиста: первый уверен в силе ума своего, второй – в меткости руки своей.

Сделаться исправителем людских пороков – слишком гордая мечта для автора книги. Боже его избави от такого невежества!

Будет и того, что болезнь указана, а как её излечить – это уж Бог знает!

Но кто же в своей жизни не делал глупостей! И кто не раскаивался!

Дурак то же, что и старая красавица: его учёность – белила, его начитанность – румяна, а умничанье – кокетство.

Несчастные софизмы, пусть и одетые блестящими выражениями, не мешают видеть, что они всё идеалы.

Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие лекарства, едкие истины.

Воображение – канва, таланты – шерсть. Иной хорошею шерстью вышивает очень дурно и некрасиво; а у другого и с дурною шерстью выходит очень хорошо: всё зависит от вкуса.

Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь; оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям дела нет до нравственной цели и до журнальных нападок, и потому они не читают предисловий.

Публика похожа на провинциала, который, подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к враждебным дворам,

остался бы уверен, что каждый из них обманывает своё правительство в пользу взаимной, нежнейшей дружбы.

На всё есть манера; многое не говорится, а отгадывается.

Наша публика так ещё молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце её не находит нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии; она просто дурно воспитана.

В порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь места. Современная образованность изобрела орудие более острое, почти невидимое и тем не менее смертельное, которое, под одеждою лести, наносит неотразимый и верный удар.

Убийство уж не в моде. Убийц на площадях казнят. Коль в образованном родился ты народе: язык и золото – вот твой кинжал и яд!

Оружие отличное: врагам кидаете в лицо вы эпиграммой... Вам насолить захочется ль друзьям? Пустите в них поэмой или драмой!

Критики-самозванцы разительно схожи с пастухом, который, по французской поговорке, пасёт стадо из 99 баранов и сам оказывается в нём сотым.

Сколько любовь приятнее женитьбы, столько роман занимательнее истории.

Теперь я не пишу романов, я их затеваю.

Свои записки ныне пишут все, и тот, кто славно жил и умер славно, и тот, кто кончил жизнь на колесе; и каждый лжёт, хоть часто слишком явно, чтоб выставить себя во всей красе. Увы! – Дела их, чувства, мненья погибнут без следа в волнах забвенья. Ни модный слог, ни модный фронтиспис – их не спасут от плесени и крыс; но хоть пути предшественников склизки, и я хочу издать свои записки!

Читать письмо то же, что глядеть на портрет: нет ни жизни, ни движения; выражение застывшей мысли, что-то отзывающееся смертью!

Ведь за какого эгоиста принимают обыкновенно поэта!

Как вас зовут? ужель поэтом? Я вас прошу в последний раз, не называйтесь так пред светом: фигляром назовёт он вас!

Поэтом (хоть и это бремя) из журналиста быть тебе не суждено; ругать, и льстить, и лгать в одно и то же время, признаться – очень мудрено!

Пуускай никто про вас не скажет: вот стихотворец, вот поэт; вас этот титул только свяжет, с ним привилегий вовсе нет.

Поэт – невольник чести.

Не унижай себя, стыдися торговать то гневом, то тоской послушной, и гной душевных ран надменно выставлять на диво черни простодушной.

Нет! не для света я писал – он чужд восторгам вдохновенья; нет! не ему я обещал свои любимые творенья. Я знаю, всё равно ему, душе ль, исполненной печали, или весёлому уму живые струны отвечали.

В заботах жизни, в шуме света теряет скоро ум поэта свои божественные сны.

В наш век изнеженный не так ли ты, поэт, своё утратил назначение, на злато променяв ту власть, которой свет внимал в немом благоговенье?

«О мёртвых ничего, кроме хорошего!» – золотое правило древних. Жаль, весьма жаль, что у нас оно не в силе; сколько бы родилось тогда великих мужей, и лириков, и критиков. Парнас превратился бы в толкучий рынок: туда бы прошёл и худенький творец эпической поэмы, и полновесный переводчик обветшалых водевилей; сколько бы шутов попало в Аполлонову свиту!

Опытный лоцман никогда не отправляется в путешествие, когда на море буря; а искусный рифмач никогда не пустится вплавь, когда море воображения спокойно.

Быть поэтом, а не экономо-политическим мечтателем, для души и для тела много здоровее.

Ругай людей, но лишь ругай остро: не то – ко всем чертям твоё перо!

Если каламбур выходит из пустой головы, то по крайней мере стихи – из полного сердца. Но для большинства людей дурной каламбур значит больше хороших стихов!

Иной перевод (особливо стихотворный) – лишь пример галиматъи на ходулях.

Херасков заимствовал у Вольтера, Вольтер у Вергилия, Вергилий у Гомера; кем пользовался Гомер?

Поэт, в минуту вдохновенного страданья бросая божественные стихи на бумагу, не чувствует, не помнит их.

Я жить хочу! хочу печали, любви и счастью назло; они мой ум избаловали и слишком сгладили чело; пора, пора насмешкам света прогнать спокойствия туман: что без страданий жизнь поэта? И что без бури океан?

И пришла буря, и прошла буря; и океан замёрз, но замёрз с поднятыми волнами; храня театральный вид движения и беспокойства, но в самом деле мертвее чем когда-нибудь.

Что без страданий жизнь поэта? И что без бури океан? *Он* хочет жить ценою муки, ценой томительных забот. Он покупает неба звуки, он даром славы не берёт.

Таков поэт: чуть мысль блеснёт, как он пером своим прольёт всю душу; звуком громкой лиры чарует свет и в тишине поёт, забывшись в райском сне, вас, вас! души его кумиры! И вдруг хладеет жар ланит, его сердечные волнения всё тише, и призрак бежит! Но долго, долго ум хранит первоначальны впечатленья.

Но чувств моих не выразит в сей миг ни ангельский, ни демонский язык!

Кто с гордою душою родился, тот не требует венца; любовь и песни – вот вся жизнь певца; без них она пуста, бедна, уныла, как небеса без туч и без светила!

Холодный слушатель есть камень, попробуй раз, попробуй и открой ему источники сердечного блаженства, он станет толковать, что должно ощутить; в простом не видя совершенства, он не привык прекрасное ценить, как тот, кто в грудь втеснить желал бы всю природу, кто силится купить страданием своим и гордою победой над земным божественной души безбрежную свободу.

Лучше всё не думав говорить, чем глупо думать и глупей судить.

Рассудок свой храня, немного говорю, да в пору.

Против правды слов нет.

Человек, для которого созерцать красоту есть блаженство, не может быть совершенным злодеем.

Для прекрасного могилы нет!

Когда всходит месяц – звёзды радуются, что светлей им гулять по поднёбесью.

Сохрани веру гордую в людей и жизнь иную.

Постигни вновь скорей святыню любви, добра и красоты!

Не воскресив душевной чистоты, ты не найдёшь потерянный свой рай!

Тот, кто играет словами, не всегда играет чувствами.

Говорят, что ранняя страсть означает душу, которая будет любить изящные искусства. Я думаю, что в такой душе много музыки.

Когда музыка моего сердца совсем расстроена, ни одного звука не могу я извлечь из скрипки, из фортепьяно, чтоб они не возмутили моего слуха.

Есть речи – значенье темно иль ничтожно, но им без волнения
внимать невозможно. Как полны их звуки безумством желанья! В
них слёзы разлуки, в них трепет свиданья.

Уста без слов – любить никто не мог; взор без огня – без
запаха цветов!

Мысль сильна, когда размером слов не стеснена, когда
свободна, как игра детей, как арфы звук в молчании ночей!

Не встретит ответа средь шума мирского из пламя и света
рождённое слово.

Есть сила благодатная в созвучье слов живых, и дышит
непонятная, святая прелесть в них.

На мысли, дышащие силой, как жемчуг, нижутся слова.

Что за звуки! Неподвижен, внемлю сладким звукам я; забываю
вечность, небо, землю, самого себя!

Ужели ты посланник рая, минутный гость в толпе людской,
ужель ты дева неземная, как говорит нам голос твой!

Подобен ласке женских рук, смягчает горе песни звук.

Есть звуки – значенье ничтожно и презрено гордой толпой –
но их позабыть невозможно: как жизнь, они слиты с душой; как в
гробе, зарыто бывшее на дне этих звуков святых; и в мире поймут их
лишь двое, и двое лишь вздрогнут о них!

Отзыв мыслей благородных звучит, как колокол на башне
вечевой, во дни торжеств и бед народных.

Ясный здравый смысл прощает зло везде, где видит его
необходимость или невозможность его уничтожения.

Пусть гордецы твердят порой, что без малейшей укоризны
должны мы жертвовать собой для непризнательной отчизны: по мне
отчизна только там, где любят нас, где верят нам!

Без цели жизнию не должно рисковать.

Надобно иметь слишком великую или слишком ничтожную мелкую душу, чтоб легко играть жизнью и смертью!

Пойдёшь ли ты через пустыню иль город пышный и большой, не обожай ничью святыню, нигде приют себе не строй.

Блажен, кто верит счастьем и любви, блажен, кто верит небу и пророкам, – он долголетен будет на земли и для сынов останется уроком.

Блажен, кто не склонял чела молодого, как бедный раб, пред идолом другого! И не искал чинов, мирясь с людским презреньем, трудясь, как глупая овца, в рядах дворянства, с рабским униженьем, прикрыв мундиром сердце подлеца иль поклоняясь немцам до конца.

И чем же немец лучше славянина? Не тем ли, что куда его судьбина ни кинет, он везде себе найдёт отчизну и картофель? Вот народ: и без таланта правит и за деньги служит, всех давит сам, а бьют его – не тужит!

Как дикарь, свободе лишь послушный, не гнётся гордый наш язык, зато уж мы как гнёмся добродушно.

И скучен нам простой и гордый наш язык, нас тешат блёстки и обманы; как ветхая краса, наш ветхий мир привык морщины прятать под румяны.

Когда же на Руси бесплодной, расставшись с ложной мишурой, мысль обретёт язык простой и страсти голос благородный?

Поразительна способность русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить.

Меж тем о благе мира чуждых стран заботимся, хлопочем мы не в меру, с Египтом новый сладил ли султан? Что Тьер сказал – и что сказали Тьеру?

Русские люди не привыкли верить надписям.

Дурной каламбур не утешение для русского человека.

Начуже [и] в раздолье печально житьё.

Русский народ, этот сторукий исполин, скорее перенесёт жестокость и надменность своего повелителя, чем слабость его; он желает быть наказываем – но справедливо, он согласен служить – но хочет гордиться своим рабством, хочет поднимать голову, чтоб смотреть на своего господина, и простит в нём скорее излишество пороков, чем недостаток добродетелей.

Люди, когда страдают, обыкновенно покорны; но если раз им удалось сбросить ношу свою, то ягнёнок превращается в тигра; притеснённый делается притеснителем и платит сторицею – и тогда горе побеждённым!

Знать для того не сближается с простым народом, что боится, дабы не увидали, что она ещё хуже его.

Настанет год, России чёрный год, когда царей корона упадёт; забудет чернь к ним прежнюю любовь, и пища многих будет смерть и кровь; когда детей, когда невинных жён низвергнутый не защитит закон; когда чума от смрадных, мёртвых тел начнёт бродить среди печальных сел, чтобы платком из хижин вызывать, и станет глад сей бедный край терзать; и зарево окрасит волны рек.

В тот день явится мощный человек, и ты его узнаешь – и поймёшь, зачем в руке его булатный нож: и горе для тебя! – твой плач, твой стон ему тогда покажется смешон; и будет всё ужасно, мрачно в нём, как плащ его с возвышенным челом.

Камень, висящий на полугоре, который может быть сдвинут усилием ребёнка, но, несмотря на то, сокрушает всё, что ни встретит в своём безотчётном стремлении, – вот что такое народ.

Мелкие самолюбивые страсти получают вес и силу оттого, что становятся общими.

Народ, невежественный и не чувствующий себя, хочет увериться в истине своей минутной, поддельной власти, угрожая всему, что прежде он уважал или чего боялся, подобно ребёнку, который говорит неблагопристойности, желая доказать этим, что он взрослый мужчина!

Если война за свободу уже началась, она передаётся кровью от отца к сыну, и если иногда неуспешно, то всегда под конец торжествует.

Свобода – бог диких племён, и их закон – война.

Не требует свобода слёз, ей только крови подавай!

Никакой чуждый враг не может ослабить духа вашего, народы, пока сами вы не упали! Но собственное унижение открывает путь ненавистным цепям и скипетру деспотов.

Но вольность, вольность для героя милей отчизны и покоя.

Вольность мне гнездо свила, как мир – необъятное!

Ты не захочешь грусть и волю за рабство тихое отдать.

Рука искусного льстеца играет глупую толпой; и благородные сердца томятся тайною тоской.

У России нет прошедшего; она вся в настоящем и будущем.

Что такое величайшее добро и зло? – два конца незримой цепи, которые сходятся, удаляясь друг от друга.

Зло порождает зло; первое страдание даёт понятие о удовольствии мучить другого; идея зла не может войти в голову человека без того, чтоб он не захотел приложить её к действительности.

Грусть – жестокий властелин: с чела не сгладит он морщин!

Как страшно жизни сей оковы нам в одиночестве влачить.
Делить веселье все готовы; никто не хочет грусть делить.

Слёзы есть принадлежность тех, у которых есть надежды.

Всё доброе не долговечно.

Встревоженный и быстрый ум вблизи предвидит много бед.
Кто жил, тот знал людей и свет, он злом не мог быть удивлён. Добру

ж давно не верит он, не верит только потому, что верил некогда всему!

Разочарование, как все моды, начав с высших слоёв общества, спустилось к низшим, которые его донашивают, и нынче те, которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это несчастье, как порок.

Многие строят химеры в своём воображении и дают им чёрный цвет для большего романтизма.

Рыцарских времён волшебные преданья – насмешливых льстецов несбыточные сны.

Теперь жизнь молодых людей более мысль, чем действие; героев нет, а наблюдателей чересчур много, и они похожи на сладострастного старика, который, вспоминая прежние шалости и присутствуя на буйных пирах, хочет пробудить погаснувшие силы. Этот гальванизм кидает величайший стыд на человечество; оно приблизилось к кончине своей; пускай... но зачем прикрывать седины детскими гремушками? зачем привскакивать на смертном одре, чтобы упасть и скончаться на полу?

Преглупое состояние человека то, когда он принуждён занимать себя, чтобы жить, как занимали некогда придворные старых королей; быть своим шутком!.. как после этого не презирать себя; не потерять доверенность, которую имел к душе своей.

Будьте внутренне покойны, а следственно, здоровы, ибо страдания тела происходят от болезней души.

Есть такая чудная способность – находить блаженство в самых диких страданиях.

Усталость тела побеждает тревогу ума.

Врачи в отчаянных случаях употребляют отчаянные средства – но всегда ли они удаются?

Иной здоров, как человек, который так часто болен был, что старую болезнь болезнью не считает.

Привыкай побеждать страдания тела, увлекаясь грёзами души.

Не всё больные умирают, иногда и здоровые прежде больных попадают на тот свет.

Чтоб воздержаться от вина, человек, конечно, старается уверить себя, что все в мире несчастья происходят от пьянства.

Не будьте никому лекарством от скуки: всякое лекарство, со всей своей пользой, очень неприятно.

Ланиты и вино нередко фальшивой краскою блестят; вино поддельное, кокетка для головы и сердца – яд!

Порой обманчива бывает седина: так мхом покрытая бутылка вековая хранит струю кипучего вина.

Грустно видеть, когда юноша теряет лучшие свои надежды и мечты, когда перед ним отдёргивается розовый флёр, сквозь который он смотрел на дела и чувства человеческие, хотя есть надежда, что он заменит старые заблуждения новыми, не менее проходящими, но зато не менее сладкими... Но чем их заменить в лета преклонные? Поневоле сердце очерствеет и душа закроется.

Старые лица, исчерченные морщинами, хранят столько смешанных следов страстей унижительных и благородных.

Часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы, так что привычным глазам трудно ошибиться.

Признаюсь, я имею сильное предубеждение против всех слепых, кривых, глухих, немых, безногих, безруких, горбатых и прочая. Я замечал, что всегда есть какое-то странное отношение между наружностью человека и его душою: как будто с потерей члена душа теряет какое-нибудь чувство.

Создания, лишённые права требовать сожаления, суть те, которые не имеют ни одной добродетели, но они не имеют ни одной добродетели, потому что никогда не встречали сожаления.

Но быстро скачет только тот, за кем раскаяние мчится!

Скверно, если вино, буйство, охота – ваши единственные занятия: они не могут внушить вам много набожных мыслей.

Иной боится верить только потому, что верил некогда всему!

Кто всё на свете презирает, живёт, не веря ничему, и ничего не принимает.

Поневоле станешь лицемерить, смеясь над тем, чему желал бы верить.

Что значит золото? – оно важней людей, через него мы можем оправдать и обвинить, – через него мы можем, купивши индульгенцию, грешить без всяких дальних опасений и, несмотря на то, попасть и в рай.

Но что такое ад и рай, когда металл, в земле открытый, может спасти от первого, купить другой? Не для толпы ль доверчивой, слепой, сочинена такая сказка?

На небе неуместно подражанье.

Я уверен, что проповедники об рае и об аде не верят ни в награды рая, ни в тяжкие мученья преисподней.

Что святой обряд тому, кто ищет лишь земных наград?

Ужель закон в сей толстой книге [т.е. в «Библии» – *ред.*] сильней закона вечного природы? Безумец тот, кто думал удержать ничтожным правилом, постановленьем движение природы человека. Он этим увеличил грех – и только, дал лишний совести укор и между тем желание усилил запрещеньем!

Влечение души нельзя нам побеждать.

Как землю нам больше небес не любить? Нам небесное счастье темно; хоть счастье земное и меньше в сто раз, но мы знаем, какое оно.

О надеждах и муках былых вспоминать в нас тайная склонность кипит; нас тревожит неверность надежды земной, а краткость печали смешит.

Страшна в настоящем бывает душе грядущего тёмная даль; мы блаженство желали б вкусить в небесах, но с миром расстаться нам жаль.

Что во власти у нас, то приятнее нам, хоть мы ищем другого порой, но в час расставанья мы видим ясней, как оно породнилось с душой.

Что раз потеряно, то верно, вернётся к нам когда-нибудь.

Но невиновен рок бывает, что чувство в нас неглубоко, что наше сердце изменяет надеждам прежним так легко, что, получив опять предметы, недавно взятые судьбой, не узнаём мы их приметы, не прельщены их красотой; и даже прежнему пристрастью не верим слабою душой, и даже то относим к счастью, что нам казалось бедой.

Когда б в покорности незнания нас жить Создатель осудил, неисполнимые желанья Он в нашу душу б не вложил. Он не позволил бы стремиться к тому, что не должно свершиться, Он не позволил бы искать в себе и в мире совершенства, когда б нам полного блаженства не должно б вечно было знать.

Но чувство есть у нас святое, надежда, бог грядущих дней, – она в душе, где всё земное, живёт наперекор страстей; она залог, что есть поныне на небе иль в другой пустыне такое место, где любовь предстанет нам, как ангел нежный, и где тоски её мятежной душа узнать не может вновь.

Всё воля Божия! – никто из нас не может противустать ей! Тот, кто сотворил нас, имеет право с нами поступать как хочет.

Храм оставленный – всё храм, кумир поверженный – всё бог!

Величественное зрелище заставляет душу погружаться в себя и думать о вечности, о величии земном и небесном, и тогда рождаются мысли мрачные и чудесные.

Удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми; всё приобретённое отпадает от души, и она делается вновь такою, какой была некогда и, верно, будет когда-нибудь опять.

В сердцах простых чувство красоты и величия природы сильнее, живее во сто крат, чем в нас, восторженных рассказчиках на словах и на бумаге.

Кто живёт среди полей и лесов дремучих, тот счастливее царей и вельмож могучих.

Многие спокойные реки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачет и не пенится до самого моря. Но это спокойствие часто признак великой, хотя скрытой силы: полнота и глубина чувств и мыслей не допускает бешеных порывов.

Сила души обнаруживается везде.

Душа, страдая и наслаждаясь, даёт во всём себе строгий отчёт и убеждается в том, что так должно; она знает, что без гроз постоянный зной солнца её иссушит; она проникается своей собственной жизнью, – лелеет и наказывает себя, как любимого ребёнка. Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие Божие.

Если точно есть предопределение, то зачем же нам дана воля, рассудок? Почему мы должны давать отчёт в наших поступках?

Подумать только! Ведь были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права!.. И что ж? эти лампы, зажжённые, по их мнению, только для того, чтоб освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, как огонёк, зажжённый на краю леса беспечным странником! Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо с своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным! А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не способны более к великим жертвам ни для блага

человечества, ни даже для собственного нашего счастья, потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределённого, хотя и истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбою.

Я замечаю, что вы идёте большими шагами в храм просвещения!

Если вдруг тебе сгрустнётся, ты не дуйся, не сердись: всё с годами пронесётся – улыбнись и разгустись.

Дев измены молодые, и неверный путь честей, и мгновенья скуки злые стоят ли тоски твоей?

Не ищи страстей тяжёлых; и покуда Бог даёт, пей нектар часов весёлых; а печаль сама придёт. И, людей не презирая, не берись учить других; лучшим быть не вображая, скоро ты полюбишь их.

Сердце глупое творенье, но и с сердцем можно жить, и безумное волненье можно также укротить. Беден, кто, судьбы в ненастье все надежды испытав, наконец находит счастье, чувство счастья потеряв.

Хоть и являются порой умы и хладные и твёрдые, как камень, но мощь их давится безвременной тоской, и рано гаснет в них добра спокойный пламень.

Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете. К чему глубокие познания, жажда славы, талант и пылкая любовь свободы, когда мы их употребить не можем?

Печально я гляжу на наше поколение! Его грядущее – иль пусто, иль темно, меж тем, под бременем познания и сомненья, в бездействии состарится оно. Богаты мы, едва из колыбели, ошибками отцов и поздним их умом, и жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, как пир на празднике чужом.

К добру и злу постыдно равнодушным, в начале поприща мы вянем без борьбы; перед опасностью позорно малодушны и перед властью – презренные рабы.

Средь бурь пустых томится юность наша, и быстро злобы яд её мрачит, и нам горька остылой жизни чаша; и уж ничто души не веселит.

Мы иссушили ум наукою бесплодной, тая завистливо от ближних и друзей надежды лучшие и голос благородный неверием осмеянных страстей. Едва касались мы до чаши наслажденья, но юных сил мы тем не сберегли; из каждой радости, бояся пресыщенья, мы лучший сок навеки извлекли.

Мечты поэзии, создания искусства восторгом сладостным наш ум не шевелят; мы жадно бережём в груди остаток чувства – зарытый скупостью и бесполезный клад.

И ненавидим мы, и любим мы случайно, ничем не жертвуя ни злобе, ни любви, и царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови.

Зачем же ты надеялся? Желать и добиваться чего-нибудь – понимаю! – а кто ж надеется?

Что нынче молодёжь? Трудятся, изнуряют себя для службы и наград, о добродетели кричат и возле женщины порядочной зевают! Жить не умеют, наконец, стыдятся неудач, боятся приключений; и чем кончают? – Под венец, лет в двадцать пять все женятся – от лени!

Стоит ли труда жить? А всё живёшь – из любопытства: ожидаешь чего-то нового... Смешно и досадно!

Жизнь дорога лишь, пока она прекрасна, а долго ль!.. Жизнь как бал – кружишься – весело, кругом всё светло, ясно... Вернулся лишь домой, наряд измятый снял – и всё забыл, и только что устал. Но в юных годах лучше с ней проститься, пока душа привычкой не сроднится с её бездушной пустотой; мгновенно в мир перелететь другой, покуда ум былым ещё не тяготится; покуда с смертью легка ещё борьба – но это счастье не всем даёт судьба.

Боюсь не смерти я. О, нет! боюсь исчезнуть совершенно. Хочу, чтоб труд мой вдохновенный когда-нибудь увидел свет; хочу – и снова затруدنеть! Зачем? что пользы будет мне?

Странная вещь эти сны! Это иная жизнь, часто более приятная, нежели действительность.

Сон – благо, дар небес, когда он тих безропотно, как смерть, как отдых рая.

Я отнюдь не разделяю мнения тех, которые говорят, будто жизнь есть сон. Я осязательно чувствую её действительность, её привлекательную пустоту. Я никогда не мог бы отрешиться от неё настолько, чтобы искренно презирать её; потому что жизнь моя – я сам, я, который говорит теперь с вами и который может в миг обратиться в ничто, в одно имя, то есть опять-таки в ничто.

Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть; я ищу свободы и покоя! Я б хотел забыться и заснуть! Но не тем холодным сном могилы... Я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб дыша вздымалась тихо грудь; чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел, надо мной чтоб, вечно зеленея, тёмный дуб склонялся и шумел.

Но чувствую: покоя нет, и там – и там – его не будет; тех длинных, тех жестоких лет страдалец вечно не забудет!

Жизнь – вечность, смерть – лишь миг.

Что началось необыкновенным образом, то должно так же и кончиться.

Есть, право, этакie люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи.

Чем-то кончится жизнь моя, а началась она недурно. Впрочем, не всё ли равно, с какими воспоминаниями я сойду в могилу!

Что сожаленья и привет тому, кто гибнет в цвете лет?

Старики обыкновенно жалеют о юношах, умирающих преждевременно, во цвете жизни, которых смерть забирает вместо их, как буря чаще ломает тонкие высокие деревья и щадит пни столетние.

Москва – моя родина и такою будет для меня всегда: там я *родился*, там много *страдал* и там же *был слишком счастлив!* Пожалуй, лучше бы не быть ни тому, ни другому, ни третьему, но что делать?

Потеряв отчизну и свободу, я вдруг нашёл себя, в себе одном нашёл спасенье целому народу; и утонул деятельным умом в единой мысли, может быть, напрасной и бесполезной для страны родной; но, как надежда, чистой и прекрасной, как вольность сильной и святой.

Есть рай небесный! – звёзды говорят; но где же? вот вопрос – и в нём-то яд; он сделал то, что в женском сердце я хотел сыскать отраду бытия.

Вся истинная жизнь моя состоит из нескольких мгновений, и всё прочее время было только приготовление или следствие сих мгновений.

Но время сердцу быть в покое от счастья, муки, от всего, с того мгновенья, как другое не бьётся больше для него! И если снова затрепещет оно, – то прежнего лишь след: так всё волнами море плещет, хотя над ним уж бури нет!

Я не хочу, чтоб свет узнал мою таинственную повесть; как я любил, за что страдал, тому судья лишь Бог да совесть!.. Им сердце в чувствах даст отчёт, у них попросит сожаленья; и пусть меня накажет тот, кто изобрёл мои мученья!

О! как бы я желал предаться удовольствиям и потопить в их потоке тяжёлую ношу самопознания, которая с младенчества была моим уделом!

Узами земными я не связан, и вечностью и знанием наказан.

Иной желает спокойствия, но не способен им наслаждаться, и оно сделалось бы величайшею для него мукой, если бы поселилось в груди его.

О! кто мне возвратит вас, буйные надежды, вас, нестерпимые, но пламенные дни! За вас отдам я счастье невежды; беспечность и покой – не для меня они!

Спокойствие много причинит вреда моим мечтам и пламень чувств уйдёт.

Земле я отдал дань земную любви, надежд, добра и зла; начать готов я жизнь другую. Молчу и жду: пора пришла.

Я сам ничем не дорожу, и всё, чем сердце дорожило, теперь для сердца стало яд, и для него страданье мило, как спутник, собственность или брат.

Я о спасенье не молюсь, небес и ада не боюсь; пусть вечно мучусь; не беда! Ведь с ней не встречусь никогда!

Моей души не понял мир. Ему души не надо. Мрак её глубокой, как вечности таинственную тьму, ничьё живое не проникнет око.

Нередко люди и бранили и мучили меня за то, что часто им прощал я то, чего бы они мне не простили.

Никто не дорожит мной на земле и сам себе я в тягость, как другим; тоска блуждает на моём челе, я холоден и горд; и даже злым толпе кажусь.

Никто моим словам не внемлет... я один!

Я был готов любить весь мир – меня никто не любил – и я выучился ненавидеть.

Надежды... о! оне мои, мои – оне святое царство души задумчивой моей.

Опять явилось вдохновенье душе безжизненной моей и превращает в песнопенье тоску, развалину страстей.

Как часто силой мысли в краткий час я жил века и жизнь иную, и о земле забывал...

Меня спасало вдохновенье от мелких сует; но от своей души спасенья и в самом счастье нет.

Молю о счастье, бывало, дождался наконец, и тягостно мне счастье стало, как для царя венец.

Страницы прошлого читая, их по порядку разбирая теперь остывшим умом, разуверяюсь я во всём.

Что пользы верить тому, чего уж больше нет?

Люди друг к другу зависть питают; я же, напротив, только завидую звёздам прекрасным, только их место занять бы желал.

Я не рождён для дружбы и пиров. Я в мыслях вечный странник, сын дубров, ущелий и свободы, и не зная гнезда, живу, как птичка кочевая.

Вступая в свет, я увидел, что у каждого есть какой-нибудь пьедестал: богатство, имя, титул, связи.

Я не рождён для света и не умею жить среди людей; я не имел ни время, ни охоты делить их шум, их мелкие заботы.

Одну добрую вещь скажу вам: наконец, я догадался, что не гожусь для общества и теперь больше, чем когда-нибудь. Вчера я был в одном доме, где, просидев 4 часа, я не сказал ни одного путного слова; у меня нет ключа от их умов – быть может, слава Богу!

Я светом осуждён. Но что такое свет? Толпа людей, то злых, то благосклонных, собрание похвал незаслуженных и стольких не насмешливых клевет.

Мне иногда кажется, что весь мир на меня ополчился, и если бы это не было очень лестно, то, право, меня бы огорчило.

Я так часто был обманут желаньями и столько раз раскаивался, достигнув цели, что теперь не желаю ничего; живу как живётся; никого не трогаю, и от этого все стараются чем-нибудь возбудить меня, как-нибудь вымучить из меня обидное себе слово.

Самый большой мой недостаток – это тщеславие и самолюбие. Было время, когда я как новичок искал доступа в высший свет. Это мне не удалось: двери аристократических салонов были закрыты для

меня; а теперь в этот же самый свет я вхожу уже не как проситель, а как человек, добившийся своих прав. Я возбуждаю любопытство, предо мной заискивают, меня всюду приглашают, а я и вида не подаю, что хочу этого.

[И вот] для поприща готовый, я дерзко вник в сердца людей сквозь непонятные покровы приличий светских и страстей.

Как часто, пёстрою толпою окружён, когда передо мной, как будто бы сквозь сон, при шуме музыки и пляски, при диком шёпоте затверженных речей, мелькают образы бездушные людей, приличьем стянутые маски!

Что толку жить!.. Без приключений и с приключеньями – тоска везде, как беспокойный гений, как верная жена, близка; прекрасно с шумной быть толпою, сидеть за каменной стеною, любовь и ненависть сознать, чтоб раз об этом поболтать; невольно узнавать повсюду под гордой важностью лица – в мужчине глупого льстеца и в каждой женщине – Иуду. А потрудиться рассмотреть – всё веселее умереть.

Кружусь в веселье шумном, не чту владыкой никого, делюся с умным и безумным, живу для сердца своего; живу без цели, беззаботно, для счастья глух, для горя нем, и людям руки жму охотно, хоть презираю их меж тем!

Безумцам не дано понять, что легче плакать, чем страдать без всяких признаков страданья.

Напрасно я ищу повсюду развлеченья. Пестреет и жужжит толпа передо мной... Но сердце холодно, и спит воображенье: они все чужды мне, и я им всем чужой!

И я один, один был брошен в свет, искал друзей – и не нашёл людей.

Я слишком залетел высоко, иной избрать я должен путь. И ненависть свою глубоко зарыть в измученную грудь. Улыбкой радостной и безмятежным взглядом встречать врага... Терпеть, молчать, и медленным, но верным ядом не жизнь его, но счастье истреблять.

Я жить спешил в былые годы, искал волнений и тревог, законы мудрые природы я безрассудно пренебрёг. Что ж вышло? Право, смех и жалость! Сковала душу мне усталость, а сожаленье день и ночь твердит о прошлом. Чем помочь?

Жить для себя, скучать собой и этой вечною борьбой без торжества, без примиренья! Всегда жалеть и не желать, всё знать, всё чувствовать, всё видеть, стараться всё возненавидеть и всё на свете презирать.

Тот, как в гробу, в душе своей живёт и терпит все упрёки, все печали, чтоб гением глупцы его назвали.

К чему ищу так славы я? Известно, в славе нет блаженства, но хочет всё душа моя во всём дойти до совершенства. Пронзая будущего мрак, она, бессильная, страдает и в настоящем всё не так, как бы хотелось ей, встречает.

Я не страшился бы суда, когда б уверен был веками, что вдохновенного труда мир не обидит клеветами; что станут верить и внимать повествованью горькой муки и не осмелятся равнять с земным небес живые звуки.

Но не достигну я ни в чём того, что так меня тревожит: всё кратко на шару земном, и вечно слава жить не может.

Где ж слава в кратких похвалах?

К погибшим люди справедливы. Но что в этом сожаленье? Одна слеза дружбы стоит всех восклицаний толпы!

Что имя? – звук пустой! Дай Бог, чтоб для тебя оно осталось тайной.

Пусть поклонников ты встретишь, но, блистая пред толпой, меж рабов ты не заметишь для себя души родной.

Забудь навек свои надежды; об них вздыхать судьба невежды.

Известность, слава, что оне? – а есть у них над мною власть; и мне оне велят себе на жертву всё принести, и я влачу мучительные

дни без цели, оклеветан, одинок; но верю им! – неведомый пророк мне обещал бессмертье, и, живой, я смерти отдал всё, что дар земной.

А стоили ль трудов моих одни глупцы да лицемеры?

Если б я был чорт, то не мучил бы людей, а презирал бы их: стоят ли они, чтоб их соблазнял изгнанник рая, соперник бога! Другое дело человек: чтоб кончить презрением, он должен начать с ненависти!

Ангел, слишком сожалеющий о человечестве, изгоняется из рая.

От лести презренной, от злой клеветы уста мои чисты и святы, и путь мой повсюду был путь правоты, трудами и горем богатый.

Но людям я не делал зла, и потому мои дела немного пользы вам узнать, – а душу можно ль рассказать?

Я мало жил, и жил в плену. Таких две жизни за одну, но только полную тревог, я променял бы, если б мог.

Всегда любя уединенье, возненавидя шумный свет, узнав неверной жизни цену, в сердцах людей нашед измену, утратив жизни лучший цвет, ожесточился я – угрюмой душа моя смутилась думой.

Счастью страшны молвы сужденья, оно цветок уединенья.

Если счастьем дорожил ты, то зачем его делил ты? Для чего не жил в пустыне? Иль об этом вспомнил ныне?

Я похож на человека, который хотел отведать от всех блюд разом, сытым не наелся, а получил индигестию, которая вдобавок, к несчастью, разрешается стихами.

Я полюбил мои мученья и не могу их разлюбить. Но ты, ты можешь оживить своей любовью непритворной мою томительную лень и жизни скучной и позорной непролетающую тень!

Пусть монастырский ваш закон рукою Бога утверждён, но в этом сердце есть другой, ему не менее святой: он оправдал меня – один, он сердца полный властелин!

Я жизнь постиг; судьбе, как турок иль татарин, за всё я ровно благодарен; у Бога счастья не прошу и молча зло переношу.

Но цепь моя несокрушима, и мой теперешний покой лишь глас залётный херувима над сонной демонов толпой.

Я, царь Всевышний, хорош уж тем, что просьбой лишней не надоем.

«Боже!» – это восклицание, невольно вырывающееся из груди, одновременно и молитва и упрёк.

Я меж людей беспечный странник, для мира и небес чужой.

Пишу, пишу рукой небрежной, чтоб здесь чрез много скучных лет от жизни краткой, но мятежной какой-нибудь остался след.

Но никогда великой тайны холодный не проникнет взор, и этот труд необычайный бездушным будет злой укор.

Хранится пламень неземной со дней младенчества во мне. Но велено ему судьбой, как жил, погибнуть в тишине.

В душе моей, как в океане, надежд разбитых груз лежит. Кто может, океан угрюмый, твои изведать тайны? Кто толпе мой расскажет думы? Я – или Бог – или никто!

Пусть никогда не буду счастлив, чтобы не сделаться похожим на других.

С тех пор как вечный судия мне дал всеведенье пророка, в очах людей читаю я страницы злобы и порока.

Провозглашать я стал любви и правды чистые ученья: в меня все ближние мои бросали бешено камня.

Враждебной силою гоним, я тем живу, что смерть другим: живу – как неба властелин – в прекрасном мире – но один.

Я предузнал мой жребий, мой конец, и грусти ранняя на мне печать; и как я мучусь, знает лишь Творец; но равнодушный мир не должен знать.

Закон судьбы несокрушим; мы все ничтожны перед ним.

Тщетны мечты, бесполезны мольбы против строгих законов судьбы.

Свой замысел пускай я не свершу, но он велик – и этого довольно.

Сладость есть во всём, что не сбылось.

Для тайных дум я пренебрёг и путь любви и славы путь, всё, чем хоть мало в свете мог иль отличиться, иль блеснуть; беднейший среди существ земных, останусь я в кругу людей, навек лишась достоинств их и добродетели своей!

Любил с начала жизни я угрюмое уединенье, где укрывался весь в себя, бояся, грусть не утая, будить людское сожаленье.

Ищу спокойствия напрасно, гоним повсюду мыслию одной. Гляжу назад – прошедшее ужасно; гляжу вперёд – там нет души родной!

Я б много припомнил минут пролетевших, а я не люблю вспоминать! Нам память являет ужасные тени, кровавый былого призрак, оно вновь призывает к оставленной сени, как в бурю над морем маяк, когда ураган по волнам веселится, смеётся над бедным челном и с криком пловец без надежд воротиться жалеет о крае родном.

Я сам собою жил доньше, свободно мчится песнь моя, как птица дикая в пустыне, как вдаль по озеру ладья.

Но пылкий, но суровый нрав меня грызёт от колыбели... И, в жизни зло лишь испытав, умру я, сердцем не познав печальных дум печальной цели.

О! если так меня терзало сей жизни мрачное начало, какой же должен быть конец?

Как скоро я заметил, что прекрасные грёзы мои разлетаются, я сказал себе, что не стоит создавать новых; гораздо лучше, подумал я, приучить себя обходиться без них. Я попробовал – и походил в это время на пьяницу, который старается понемногу отвыкать от вина; усилия мои не были бесполезны, и вскоре прошлое представилось мне просто перечнем незначительных, самых обыкновенных походов.

Никто не получал, чего хотел и что любил, и если даже тот, кому счастливый небом дан удел, в уме своём минувшее пройдёт, увидит он, что мог счастливее быть, когда бы не умела отравить судьба его надежды. Но волна ко берегу возвратиться не сильна.

Когда бы мог весь свет узнать, что жизнь с надеждами, мечтами не что иное – как тетрадь с давно известными стихами.

Мы пьём из чаши бытия с закрытыми очами, златые омочив края своими же слезами; когда же перед смертью с глаз завязка упадет, и всё, что обольщало нас, с завязкой исчезает; тогда мы видим, что пуста была золотая чаша, что в ней напиток был – мечта, и что она – не наша!

Что такое жизнь? Жизнь вещь пустая. Покуда в сердце быстро льётся кровь, всё в мире нам и радость и отрада. Пройдут года желаний и страстей, и всё вокруг темней, темней! Что жизнь? – Давно известная шарада для упражнения детей; где первое – рожденье! где второе – ужасный ряд забот и муки тайных ран, где смерть – последнее, а целое – обман!

Мгновенно пробежав умом всю цепь того, что прежде было, – я не жалею о былом: оно меня не усладило. Как настоящее оно страстями бурными обито и вьюгой зла занесено, как снегом крест в степи забытый.

Моя жизнь до сих пор была цепью разочарований, теперь они смешны мне, я смеюсь над собою и над другими. Я только отведал всех удовольствий жизни и, не насладившись ими, пресытился.

Моё грядущее в тумане, бывшее полно мук и зла... Зачем не позже иль не ране меня природа создала?

Умереть с пулею в груди – это лучше медленной агонии старика.

Безумец, я! вы правы, правы! Смешно бессмертье на земли. Как смел желать я громкой славы, когда вы счастливы в пыли? Как мог я цепь предубеждений умом свободным потрясать и пламень тайных угрызений за жар поэзии принять?

Мои слова печальны: знаю, но смысла их вам не понять. Я их от сердца отрываю, чтоб муки с ними оторвать!

Нет... мне ли властвовать умами, всю жизнь на то употребя? Пускай возвышусь я над вами, но удалюсь ли от себя?

Тому ль пускаться в бесконечность, кого измучил краткий путь? Меня раздавит эта вечность, и страшно мне не отдохнуть!

Я схоронил навек бывшее, и нет о будущем забот, земля взяла своё земное, она назад не отдаёт!

Меня могила не страшит: там, говорят, страданье спит в холодной вечной тишине; но с жизнью жаль расстаться мне.

Но я без страха жду довременный конец. Давно пора мне мир увидеть новый; пускай толпа растопчет мой венец: венец певца, венец терновый!.. Пускай! я им не дорожил.

Я не сотворён для людей теперешнего века и нашей страны. Я для них слишком горд, они для меня – слишком подлы.

Им жизнь нужна моя, – ну что же, пусть возьмут, не мне жалеть о ней! В наследие они одно приобретут – клуб ядовитых змей.

Хочу ли я перед врагом предстать с бесчувственным челом, с холодной важностью лица и мстить хоть этим до конца? Иль я невольно в этот миг глубокой мыслию постиг, что я в цепи существ давно едва ль не лишнее звено?

Ликуйте, о друзья! Что вам судьбы дряхлеющего мира? Над вашей головой колеблется секира, но что ж!.. из вас один её провижу я.

Мои друзья вчерашние – враги, враги – мои друзья, но, да простит мне грех Господь благий, их презираю я. Вы также знаете вражду друзей и дружество врага, но чем ползущих давите червей? Подошвой сапога!

Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ.

Что ж? умереть так умереть! Потеря для мира небольшая; да и мне самому порядочно уж скучно. Я – как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что ещё нет его кареты. Но карета готова... Прощайте!

Пора уснуть последним сном, довольно в мире пожил я; обманут жизнью был во всём, и ненавижу и люблю.

Есть всему конец, немного долголетней человек цветка; в сравнение с вечностью их век равно ничтожен. Пережить одна душа лишь колыбель свою должна.

Зачем, достигнув цели, бледнеть и трепетать?

Мысля об одной земле, – свой ад и рай ты здесь умел сыскать. Других не знал, и не хотел ты знать!

Чтоб бытия земного звуки не замешались в песнь мою, чтоб лучшей жизни на краю не вспомнил я людей и муки, чтоб я не вспомнил этот свет, где носит всё печать проклятья, где полны ядом все объятя, где счастья без обмана нет.

Оставлю прежнее забвенью; вознаграждён судьбою я вполне, и если б мог Творец завидовать творенью, то позавидовал бы мне!

В самозабвенью не лучше ль кончить жизни путь? И беспробудным сном заснуть с мечтой о близком пробужденье?

Ты не годишься – и на воле! Погиб – и дан тебе покой!

Кто умер, тот счастливее живущих: пред ним, как море жизни, вечность роковая неизмеримо открылась глубиной.

Смерть – переход из одной комнаты в другую, подобную ей.

Там на Востоке тайник богатых откровений. Я многому научился у азиатов, и мне бы хотелось проникнуть в таинства азиатского мирозерцания, зачатки которого и для самих азиатов и для нас ещё мало понятны.

Я пущусь по дикой степи, и надменно сброшу я образованности цепи и вериги бытия.

Везде прекрасен Божий свет, отечества для сердца нет! Оно насилья не боится, как птичка вырвется, умчится. Поверь мне – счастье только там, где любят нас, где верят нам!

Великий муж! здесь нет награды, достойной доблести твоей! Её на небе сыщут взгляды и не найдут среди людей.

Твоя отчизна в небесах: там всё, что ты любил земного, ты встретишь и полюбишь снова!

Понять о небесном нам дано, но слишком для земли нас создал Бог, чтоб кто-нибудь его запомнить мог.

Я не мог понять, как можно чувствовать блаженство или горькие страдания далеко от той земли, где в первый раз я понял, что я живу, что жизнь моя безбрежна, где жадно я искал самопознания, где столько я любил и потерял, любил согласно с этим бранным телом, без коего любви не понимал я. Так думал я и вдруг душой забылся, и чрез мгновенье снова жил я, но не видал вокруг себя предметов земных и более не помнил я ни боли, ни тяжёлых беспокойств о будущей судьбе моей и смерти: всё было мне так ясно и понятно, и ни о чём себя не вопрошал я, как будто бы вернулся я туда, где долго жил, где всё известно мне, и лишь едва чувствительная тягость в моём полёте мне напоминала моё земное, краткое изгнание.

Душа, не слыша на себе оков телесных, рассмотреть могла бы яснее весь мир – но будет ей не до того.

Кто близ небес, тот не сражён земным.

Без сожаленья, без участия смотреть на землю станешь ты, где нет ни истинного счастья, ни долговечной красоты, где преступленья лишь да казни, где страсти мелкой только жить; где не умеют без боязни ни ненавидеть, ни любить.

Известно, что такое дух: жизнь, сила, чувство, зренье, голос, слух и мысль – без тела – часто в видах разных.

Дух, отчуждённый от всего живущего, свободен и всемогущ, он ничего не желает, ни об чём не сожалеет, он завладел прошедшим и будущим, которое представляется ему пёстрой картиной, где он находит много смешного и ничего жалкого.

Чтоб достигнуть рая, надобно перешагнуть через бездну – помни об этом!

* * *

А жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, такая пустая и глупая шутка!

Надо бегать за приключениями, чтоб они встретились.

Лишь в разбитом сердце может страсть иметь неограниченную власть.

Лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубину сердца. Они там и умерли.

Тот самый пустой человек, кто наполнен собою.

Да, были люди в наше время, могучее, лихое племя: богатыри – не вы.

И на театре, как на сцене света, мы не выходим из балета: захочется ль кому к честям и званиям пробить себе дорогу, работы нет его уму – умей он поднимать лишь ногу.

Есть люди странные, которые с друзьями обходятся как с сюртуками: покуда нов сюртук: в чести – а там забыт и подарён слугám!

Всё то хорошо, чего у нас нет, от этого, верно, и нам нравится.

Устарело всё, что ново!

Я никогда сам не открываю моих тайн, а ужасно люблю, чтоб их отгадывали, потому что таким образом я всегда могу при случае от них отпереться.

Стыдить лжеца, шутить над дураком и спорить с женщиной – всё то же, что черпать воду решетом: от сих троих избавь нас, Боже!

Что такое все цели, все труды человечества без любви?

Одно сердце хорошо, а два лучше.

Я не могу любовь определить, но это страсть сильнейшая!

Вот женщина: она не может видеть лица, которое не уступает ей в красоте!

Гений, прикованный к чиновничьему столу, должен умереть, или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара.

Дурак и старая кокетка – всё равно: румяны, горсть белил – всё знание его!

Грусть – ужасный властелин: с чела не сгладит он морщин!

Страдания тела происходят от болезней души.

Я не хочу быть вашим лекарством от скуки; всякое лекарство, со всей своей пользой, очень неприятно.

Всё на свете презирая, живёшь, не веря ничему и ничего не признавая.

Желание усиливается запрещеньем.

Жизнь, как бал: кружиться – весело, кругом всё светло, ясно...
Вернулся лишь домой, наряд измятый снял – и всё забыл, и только
что устал.

Время сердцу быть в покое от волненья своего с той минуты,
как другое уж не бьётся для него.

Что ж? умирать так умирать! Потеря для мира небольшая; да и
самому человеку порядочно уж скучно. Он как тот, кто зевает на
бале, кто не едет спать только потому, что ещё нет его кареты. Но
карета готова... Прощайте!

* * *

M. I. L e r m o n t o f f
SENTENCES, MAXIMES ET
REFLECTIONS

L'âme humaine trouve une inexplicable, mais pleine réjouissance dans sa lutte contre les hommes et contre le destin.

Où l'on chante l'on est heureux.

Un beau projet ne doit pas être abandonné, la fleur ne doit pas se faner sur sa tige.

Dans sa première jeunesse, l'homme peut être un rêveur. Il aime à caresser tour à tour des images sombres ou riantes; ce qui lui vaut une imagination inquiète et avide. Mais que lui restera-t-il de tout cela? Une fatigue, comme après une nuit de combat avec un fantôme et un souvenir confus plein de regrets.

Les rêves de jeunesse sont si beaux – surtout dans le souvenir.

Au début de sa carrière, l'homme ne sait lui-même quelle route va-t-il prendre: celle du vice ou celle de la sottise; il est vrai que toutes les deux mènent souvent au même but.

Il n'est pas d'homme qui, au début de la vie, ne pense l'achever comme Alexandre ou Lord Byron; et cependant, ils demeurent tout un siècle conseillers en titre.

Il n'y a pas de hasard dans ce bas monde.

Pourquoi l'homme vit-il? A quoi était-il destiné en naissant? Sûrement, il a un but à atteindre; il est appelé à un sort élevé, car il sent en lui des forces immenses. Quel malheur, s'il n'a point compris sa destinée et s'il s'est laissé entraîner par l'appât des passions viles et ingrates. Du milieu de leurs flammes, il peut sortir pur et froid comme le fer et perdre pour toujours l'ardeur des nobles enthousiasmes, la fleur par excellence de la vie.

Entendre quelqu'un, c'est l'écouter; si l'on ne veut pas l'entendre, il ne faut pas l'écouter.

Vous avez vu beaucoup et vous savez bien peu; mais ce que vous savez mettez-le sous clef.

Ni la gloire ni le bonheur ne dépendent d'études en aucune mesure puisque les gens les plus heureux sont les ignorants. Quant à la gloire, c'est une affaire de chance. Pour l'atteindre, il suffit d'être habile.

Qui sait, s'il est réellement persuadé d'une chose ou non? Combien souvent prenons-nous pour une conviction une simple erreur des sens ou une faute de jugement!

Comment un événement insignifiant peut avoir quelquefois des suites fâcheuses!

Si tous les gens réfléchissaient davantage, ils se persuaderaient que la vie ne mérite pas qu'on prenne tant de soin pour elle.

Les plaisirs s'oublient, les chagrins jamais.

Etre intimement tranquille, c'est être sain, car les douleurs du corps proviennent des maux de l'âme.

Il est inutile et irréfléchi d'aller à la poursuite du bonheur perdu.

Un homme de génie attaché au banc d'un pupitre, doit mourir ou perdre l'esprit; absolument comme un homme, doué d'une constitution, vigoureuse, condamné à une vie sédentaire et sans exercice, mourra d'une attaque d'apoplexie.

Chacun doit suivre sa destination.

L'histoire d'une âme humaine, même celle de l'âme la plus humble, est, j'en suis presque sûr, plus curieuse et plus profitable que celle d'un peuple tout entier, surtout quand elle provient des observations faites sur soi-même par un esprit mûr et qu'elle est écrite sans le vain souci d'éveiller la pitié ou l'admiration.

Presque toujours nous pardonnons ce que nous comprenons.

Les passions ne sont rien d'autre que des idées dans leur premier essor. Elles appartiennent en propre à la jeunesse du cœur et bien sot est celui qui pense en être agité toute sa vie: beaucoup de rivières tranquilles commencent par des cascades bruyantes et aucune ne bondit ni ne fait d'écume jusqu'à la mer.

Il ne connaît ni les hommes ni leurs cordes faibles, celui qui, pendant toute sa vie, ne s'est occupé que de lui-même.

Je hais les hommes pour ne pas les mépriser, car autrement la vie serait une farce trop dégoûtante.

O amour-propre! C'est toi le levier avec lequel Archimède voulait soulever le monde!

L'ardeur des nobles enthousiasmes, c'est la fleur par excellence de la vie.

La couleur claire des cheveux, en contraste avec les moustaches et les sourcils noirs, est un signe de race chez un homme, comme la crinière et la queue noires chez les chevaux.

Ne point gesticuler est un indice certain d'un caractère dissimulé.

Ne vous est-il jamais arrivé de remarquer cette chose étrange chez certains: l'homme sourit et ses yeux ne rient pas avec lui? C'est l'indice ou d'un caractère méchant ou d'un chagrin profond et permanent.

On peut avoir la passion innée de la contradiction. Toute l'existence de l'homme n'est qu'une série de contradictions imposées à notre cœur ou à notre raison. La présence d'un enthousiaste suffit pour nous glacer. Mais je suis certain que des relations avec un fade flegmatique nous rendraient les plus passionnés des rêveurs.

Il ne faut jamais repousser un coupable qui se repent: par désespoir il peut devenir encore deux fois plus coupable.

Il y a des gens chez qui même le désespoir est drôle!

La tristesse en public est ridicule, et une joie trop grande est indécente.

J'ai vu en entrant dans le monde que chacun avait son piédestal: une fortune, un nom, un titre, une faveur. J'ai vu que si j'arrivais à occuper de moi une personne, les autres s'occuperont de moi insensiblement, par curiosité avant, par rivalité après.

Certainement nulle part il n'y a tant de bassesses et de ridicule qu'en beau monde.

Mon plus grand défaut c'est la vanité et l'amour-propre. Il fut un temps où j'ai cherché à être admis dans le beau monde comme novice, je n'y suis pas parvenu; les portes aristocratiques se sont fermées pour moi: et maintenant j'entre dans ce même monde non plus en solliciteur, mais en homme qui a conquis ses droits; j'excite la curiosité; on me recherche, on m'engage partout, sans que je fasse mine de le désirer même.

C'est si doux de rire sous-cape des choses briguées et enviées par les sots, avec quelqu'un qui, on le sait, est toujours prêt à partager vos sentiments.

La tête me tourne à force des sottises; je crois que c'est aussi la cause qui fait tourner la terre depuis 7000 ans, si Moïse n'a pas menti.

La Russie est ainsi faite, que de vieilles et misérables absurdités peuvent s'y propager facilement.

Le plus fantastique des contes a chez nous bien de la peine à se soustraire au reproche d'attaques dirigées contre quelque individualité.

Cette drôle passion de laisser partout des traces de son passage... Pauvre ambition! Une idée d'homme, quelque grande qu'elle soit, vaut-elle la peine d'être répétée dans un objet matériel, avec le seul mérite de se faire comprendre à l'âme de quelques uns; – il faut que les hommes ne soient pas nés pour penser, puisqu'une idée forte et libre est pour eux chose si rare!

Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es!

Près d'un ancien ami, on se retrouve soi-même, tel que l'on était autrefois.

On ne peut rien tirer d'un homme qui oublie ses vieux amis.

Je suis très difficile en amitié. De deux amis, l'un est toujours l'esclave de l'autre bien que souvent aucun des deux ne l'avoue à soi-même; esclave, je ne peux pas l'être; quant à commander c'est une fatigue accablante parce qu'il faut, en même temps, donner le change. Et d'ailleurs j'ai des domestiques et de l'argent!

Je ferais plus volontiers plaisir à un ennemi qu'à un ami, parce que cela s'appellerait vendre cher sa bienfaisance, car la haine d'un homme s'augmente en proportion de la grandeur d'âme de son adversaire.

Voilà les hommes; ils sont tous ainsi: ils calculent d'avance toutes les bonnes ou mauvaises conséquences d'un événement. Ils vous aident, vous approuvent, vous encouragent même en voyant l'impossibilité d'un autre expédient; mais après ils s'en lavent les mains et se détournent avec indignation de celui qui a osé prendre sur lui tout le fardeau de la responsabilité. Ils sont tous ainsi, même les meilleurs, même les plus intelligents.

Moi, c'est la personne que je fréquente avec le plus de plaisir; en arrivant, je suis sorti, il est vrai assez souvent, chez des parents avec lesquels je devais faire connaissance, mais à la fin j'ai trouvé que mon meilleur parent c'était moi.

Chose étrange que les songes! une doublure de la vie, qui souvent est plus agréable que la réalité.

Je ne partage pas du tout l'avis de ceux qui disent que la vie n'est qu'un songe. Je sens bien fortement sa réalité, son vide engageant! – je ne pourrai jamais m'en détacher assez pour la mépriser de bon cœur; car ma vie – c'est moi, *moi*, qu vous parle, – et qui dans un moment peut devenir rien, un nom, c'est à dire encore rien.

Dieu sait, si après la vie, le *moi* existera! C'est terrible, quand on pense qu'il peut arriver un jour, où je ne pourrai pas dire: moi! – à cette idée l'univers n'est qu'un morceau de boue.

En songeant à une mort prochaine et possible, je ne pense qu'à moi, quelques-uns ne font pas même cela. Les amis qui demain m'oublieront ou peut-être, ce qui est pire, répéteront sur mon compte, Dieu sait quelles faussetés, les femmes qui, en embrassant leur nouvel amant, riront de moi, afin de ne pas le rendre jaloux du pauvre défunt; que Dieu soit avec eux!

Tout est absurde en ce monde; la nature est stupide, le destin un dindon et la vie ne vaut pas un sou!

Là où ce ne sera pas mieux, ce sera pire, mais du mal au bien, il n'y a, de nouveau, pas loin.

La prudence ne gête jamais rien.

Je ne raconte jamais mes secrets; j'aime bien mieux qu'on les devine; je puis ainsi, à l'occasion, désavouer de semblables projets.

C'est un bon principe que de ne rien récuser d'une manière décisive et de ne croire à rien aveuglément.

J'aime me savoir des ennemis, quoique ce ne soit pas très chrétien; cela m'amuse et fouette mon sang. Se tenir sur ses gardes, surprendre chacun de leurs regards, deviner chacune de leurs paroles, pénétrer leurs intentions, faire avorter leurs projets; feindre d'être trompé, et soudain faire crouler d'un seul coup, cet énorme édifice, qui leur a donné tant de peines et leur a fait dépenser tant d'adresse et de réflexion. Voilà ce que j'appelle vivre!

Chose bizarre que le cœur humain, et surtout chez la femme!

L'amour est comme le feu: sans aliment il s'éteint. La jalousie fera peut-être ce que n'eussent pu faire les prières.

La plupart du temps nous nous trompons bien en pensant qu'une femme nous aime pour notre extérieur ou nos qualités morales, tandis qu'ils ne font que préparer et disposer son cœur à recevoir le feu sacré; le moindre premier contact décide l'affaire.

Difficilement on trouvera un jeune homme rencontrant une jolie femme, qui n'a pour lui que des regards insignifiants, tandis qu'il la voit soudain en public en regarder tout différemment un autre qui lui est aussi inconnu; difficilement, dis-je, on trouvera un jeune homme dans cette situation, qui ne soit blessé désagréablement. J'entends ici un jeune homme ayant vécu dans le monde et habitué à être flatté dans son amour-propre.

L'amour, que nous lisons dans les yeux, n'engage pas une femme comme les paroles...

On doit rendre cette justice aux femmes: elles ont l'instinct de la beauté de l'âme.

La compassion, c'est un sentiment auquel se soumettent si facilement toutes les femmes.

La conversation entre deux amants est une de celles qui, sur le papier, n'ont plus de sens, on ne peut la répéter, et on ne peut s'en souvenir. Le ton des voix définit et complète l'expression des paroles, comme dans la musique italienne.

Depuis que les poètes écrivent et que les femmes les lisent (et nous leur en sommes profondément reconnaissants), on les a appelées si souvent des anges, que dans la simplicité de leur âme, elles ont cru effectivement à ce compliment, oubliant que ces mêmes poètes, pour de l'argent, ont mis Néron au rang des dieux.

La race, chez les femmes comme chez les chevaux, est une chose importante. Elle se fait remarquer en grande partie par l'allure, les mains et les pieds; habituellement le nez l'indique aussi beaucoup.

L'amour d'une sauvageonne ne vaut guère plus que celui d'une dame de l'aristocratie. L'ignorance et la candeur de l'une sont aussi lassantes que la coquetterie de l'autre.

Le besoin incessant d'aimer nous tourmente pendant les premières années de la jeunesse et nous pousse d'une femme à l'autre, jusqu'à ce que nous en trouvions une qui ne puisse nous supporter. Voilà le moment où nous devenons véritablement constants, passion sans fin que l'on pourrait exprimer mathématiquement par une ligne partant d'un point et se perdant dans l'espace. Le secret de cette éternité ne gît que dans l'impossibilité où l'on est d'atteindre le but, c'est-à-dire la fin.

Je méprise les femmes pour ne pas les aimer, car autrement la vie serait un mélodrame trop ridicule.

Je n'aime guère les femmes à caractère fort; est-ce là leur affaire?

Ah! les femmes! les femmes, qui peut les deviner? Leurs sourires contredisent leurs regards, leurs paroles promettent et engagent et le son de leur voix repousse; tantôt elles pénètrent et devinent nos plus secrètes pensées, tantôt elles ne comprennent plus nos plus claires allusions.

Il n'y a rien de plus paradoxal que l'esprit féminin: il est difficile de convaincre les femmes d'une chose, il faut les amener à s'en persuader elles-mêmes. L'ordre des arguments par quoi elles réduisent à néant leurs préjugés est très original: pour apprendre leur dialecte il faut que l'on renverse dans son propre esprit toutes les règles scolaires de la logique.

Ah! des cadeaux! Que ne ferait une femme pour un chiffon de couleur!

Les femmes n'aiment que les gens qu'elles ne connaissent pas.

La femme la moins aimante n'aime pas beaucoup qu'on cherche des consolations loin d'elle.

Les femmes pardonnent toujours le mal qu'on fait à une femme.

Que ne fait une femme pour affliger sa rivale? Je me souviens qu'une d'elles ne m'aima que parce que j'en aimais une autre.

Si l'homme a déjà dépassé cette période de la vie, où l'on a le bonheur et où le cœur sent le besoin d'aimer avec force et passion, n'importe qui; maintenant on ne désire plus que d'être aimé et par un très petit nombre. Aussi, il me semble qu'un seul attachement auquel on serait fidèle, serait tout ce qu'il nous faudrait. Pitoyable disposition du cœur!

Il y a sans doute une immense jouissance à posséder une jeune âme qui s'épanouit à peine! Elle est comme une de ces fleurs dont les meilleurs parfums s'évaporent au contact des premiers rayons du soleil; il faut la cueillir à ce moment, l'aspirer jusqu'à épuisement, et puis la rejeter sur le chemin! Peut-être se trouvera-t-il quelqu'un pour la ramasser!

Qui n'est plus capable de faire des folies sous l'influence de la passion et qui ressent en soi cette insatiable avidité, qui engloutit tout ce qu'elle rencontre sur son chemin, ne songe à la souffrance et à la joie des autres que par rapport à soi; il y trouve l'aliment nécessaire à l'entretien des forces de son âme.

Dieu! que c'est embarrassant d'avoir des amis qui sont en train de se marier.

Il y a un sentiment bas, mais insurmontable qui nous engage à détruire les plus douces erreurs de notre prochain, afin d'avoir le petit plaisir de lui dire, lorsque désespéré, il nous demandera à qui il devra croire: «Mon ami! La même chose est arrivé à moi, et tu vois, je dîne, je soupe, je dors tranquillement et j'espère mourir sans cris et sans larmes!»

L'ambition étouffée par les circonstances se manifeste sous d'autres aspects: elle n'est que la soif de la puissance, et le premier des plaisirs pour elle, est de subordonner à sa volonté tous ceux qui l'entourent et d'éveiller en eux le sentiment de l'amour, de l'attachement, de la frayeur.

N'est-ce pas en effet la plus grande preuve et le plus grand triomphe de la puissance, que d'être pour le premier venu, une cause de souffrance ou de plaisir, sans avoir au-dessus de lui un droit positif!

Qu'est-ce que le bonheur, si ce n'est l'orgueil assouvi! Si je croyais être le meilleur et le plus puissant des hommes, je serais heureux! Et si tous m'aimaient, je trouverais en moi des sources inépuisables d'amour.

J'aime à douter de tout; cela n'empêche pas la décision de caractère; au contraire, il me semble que je vais toujours avec plus d'audace, lorsque j'ignore ce qui m'attend, sans doute il ne peut rien m'arriver de pire que la mort; et la mort on ne peut l'éviter!

Les idées sont des créatures organiques: leur naissance leur donne déjà une forme et cette forme est action; l'homme dans la tête duquel naît le plus d'idées agit plus que les autres. Voilà pourquoi un génie cloué à un bureau de fonctionnaire doit mourir ou devenir fou, de même qu'un homme de complexion vigoureuse, s'il mène une vie sédentaire et se conduit modérément, mourra d'une attaque d'apoplexie.

Sans les sots, le monde serait bien ennuyeux.

Deux hommes intelligents sachent qu'ils pourraient se mettre à discuter sans fin et à cause de cela ils ne discutent pas. Ils connaissent presque toutes leurs pensées les plus secrètes; un seul mot est toute une histoire pour eux, ils voient le germe de chacun de leurs sentiments à travers une triple enveloppe. Ce qui est triste leur paraît ridicule, et ce qui est ridicule leur paraît triste, et pour dire la vérité ils sont en général assez indifférents pour tout, excepté pour eux-mêmes.

Il ne peut y avoir échange de sentiments et de pensées entre deux personnes intelligentes. Ils savent l'une et l'autre tout ce que ils veulent savoir et ils ne veulent pas en savoir davantage. Il leur reste un seul expédient, c'est de se raconter les nouvelles.

Les hommes d'esprit aiment mieux les auditeurs que les conteurs.

Parler des convictions, est une chose inutile, car toutes les convictions ne sont que des finesses philosopho-métaphysiques. Dans tout ce qui me touche, je ne suis convaincu que d'une chose: c'est que, un beau matin, tôt ou tard, je mourrai. Et si vous êtes convaincu d'une chose de plus: c'est qu'un maudit soir, vous êtes venu au monde, alors, recevez mes félicitations: vous êtes plus riche que moi.

C'est un rêve trop orgueilleux pour l'auteur d'un livre que de s'établir en redresseur de l'humanité vicieuse: Dieu le préserve d'une pareille sottise!

Il suffit à présent d'indiquer la maladie. Quant à la guérir... Dieu seul le sait.

Pas mal d'hommes ont passé leur temps à se nourrir de douceurs et leur estomac s'est gâté; il leur faut maintenant la médecine amère des vérités piquantes.

Dans tout livre, la préface est en même temps la première et la dernière des choses; elle sert ou bien à expliquer les buts de l'ouvrage, ou bien à présenter une justification et une réponse à la critique. Mais, d'habitude, les visées morales et les attaques des journaux n'intéressent pas les lecteurs, aussi ne lisent-ils pas les préfaces.

Chaque chose se fait à sa manière. Et une foule de choses ne se dit pas, mais se devine.

Le public ressemble à un provincial qui entendant causer deux diplomates, appartenant à des cours ennemies, resterait persuadé que chacun d'eux trompe son gouvernement, dans l'intérêt d'une douce et réciproque amitié.

Le public est encore si primitif, si ingénu, qu'il ne comprend pas les fables, si, à la fin, il n'y trouve une moralité. Il ne devine pas la plaisanterie et ne saisit pas l'ironie; il est simple et mal élevé

Dans le monde comme il faut, et dans un livre de bon ton, une discussion violente ne peut avoir lieu d'une manière trop apparente. La civilisation actuelle a découvert des armes plus fines, presque invisibles, et non moins sûres, qui, sous le couvert de la flatterie, vous portent des coups mortels et inévitables.

L'esprit éclairé et sain pardonne le mal partout où il le voit absolument nécessaire et impossible à détruire.

Beaucoup de paroles ne valent pas une action.

Les Russes ont une facilité stupéfiante à s'accoutumer aux mœurs des peuples, au milieu desquels ils viennent vivre.

Les Russes ne sont pas habitués à croire aux inscriptions.

Un mauvais calembour n'est pas une consolation pour un Russe.

On prétend souvent être hypocrite, mais on n'a pas assez de moyens pour cela; on n'est que menteur.

Le mal engendre le mal, une première souffrance fait comprendre le plaisir qu'il y a à tourmenter les autres. L'idée du mal ne peut entrer dans la tête d'un homme sans qu'il ait envie de l'appliquer à la réalité.

Le dégoût de tout, comme toutes les modes, a commencé dans les plus hautes classes de la société, pour descendre ensuite dans les plus basses qui l'avaient exagéré. Et maintenant ceux qui, réellement, s'ennuient le plus, s'efforcent de cacher ce malheur comme un défaut.

Pour s'abstenir de boire, l'homme naturellement s'efforce de se persuader que dans le monde tous les malheurs proviennent de l'ivrognerie.

Il est triste de voir un jeune homme perdre les meilleurs de ses rêves et les meilleures de ses espérances alors que devant lui s'épanouissent les roses à travers lesquelles il aperçoit les choses et les sentiments de l'humanité. Et cependant il a au moins une espérance, c'est de pouvoir troquer les vieilles erreurs contre les nouvelles qui ne sont ni moins fugitives ni moins douces. Mais à l'âge avancé, comment les remplacer? C'est involontairement que le cœur s'endurcit et que l'âme se ferme.

Souvent, sur le visage d'un homme qui doit mourir au bout de quelques heures, il y a comme le sceau bizarre de son destin inéluctable, si bien que des yeux exercés peuvent difficilement s'y tromper.

J'avoue que je suis fortement prévenu contre tous les aveugles, borgnes, sourds, muets, culs de jatte, manchots, bossus, etc... J'ai remarqué qu'il y a toujours un étrange rapport entre l'aspect extérieur d'un homme et son âme: comme si la privation d'un membre faisait perdre à l'âme je ne sais quel sens.

Quand on s'éloigne des conventions sociales et qu'on s'approche de la nature, on redevient malgré soi un enfant. Tout ce que l'âme possède d'acquis se détache et elle redevient telle qu'elle fut autrefois, telle qu'un jour, assurément, elle sera de nouveau.

Chez les cœurs simples le sentiment de la beauté et de la grandeur de la nature est plus puissant et cent fois plus vif que chez nous, conteurs enthousiastes en paroles et sur le papier.

Beaucoup de rivières tranquilles commencent par des cascades bruyantes et aucune ne bondit ni ne fait d'écume jusqu'à la mer. Mais ce calme est souvent le signe d'une force énorme, quoique cachée.

La plénitude et la profondeur des sentiments et des pensées n'admettent pas les transports furibonds. Une âme agitée par les passions, se donne en tout de lourdes responsabilités, et est persuadée qu'il doit en être ainsi. Elle sait que sans les orages, la permanente ardeur du soleil la dessécherait. Elle se pénètre de sa propre vie, se caresse et se punit elle-même, comme un enfant gâté. Ce n'est que dans cette condition de connaissance de soi-même que l'homme peut apprécier la justice divine.

Si, réellement, la prédestination existe, pourquoi la volonté et la raison nous ont-elles été données? Pourquoi devons-nous rendre compte de nos actions?

Je ne peux m'empêcher de sourire en me souvenant qu'il y avait autrefois des hommes sages qui pensaient que les constellations célestes prenaient part à leurs futiles discordes pour un morceau de terre ou pour des droits inventés à plaisir. Eh quoi donc? Ces flambeaux auraient été allumés à leur intention et seulement pour éclairer leurs luttes et leurs triomphes. Mais ils brillent toujours avec le même éclat, tandis que leurs passions et leurs espérances se sont éteintes depuis longtemps avec eux-mêmes, comme un feu mesquin, allumé sur la limite d'une forêt par un voyageur insouciant. Et quelle volonté énergique il leur a fallu, pour se persuader que le ciel entier et ses innombrables habitants, les regardaient avec une participation muette, il est vrai, mais immuable!... Quant à nous,

leurs misérables descendants, errant sur la terre sans conviction et sans fierté, sans jouissances et sans douleurs, hormis une peur involontaire, qui nous serre le cœur à la pensée d'une fin inévitable, nous sommes beaucoup plus incapables des grands sacrifices que réclame la noble humanité et même notre propre bonheur; nous savons qu'il est impossible et nous marchons avec indifférence, de doute en doute, comme nos aïeux se sont jetés d'une erreur dans une autre. Nous n'avons, comme eux, ni espérances, ni même cette indéfinissable mais ardente jouissance, que reçoit l'âme, au milieu de ses luttes contre les hommes ou contre le sort.

Pourquoi as-tu espéré? On peut toujours désirer et demander n'importe quoi, je le comprends; mais qui peut espérer?

Parfois un incident minime a de cruelles conséquences!

Quel ennui que de vivre! Et on vit tout de même... par curiosité. On attend quelque chose de nouveau... C'est ridicule et absurde!

Moscou *est* et *sera* toujours ma patrie. J'y suis né, j'y ai beaucoup souffert, et j'y ai été trop heureux! – ces trois choses auraient bien mieux fait de ne pas arriver... mais que faire!

Tel est l'ordre des choses: ce qui a commencé de façon extraordinaire doit finir de même.

Il y a vraiment de ces gens dans la destinée desquels il est écrit qu'ils auront des aventures extraordinaires!

Lire une lettre, c'est comme regarder un portrait: point de vie, point de mouvement; l'expression d'une pensée immuable, quelque chose qui sent la mort!

Quand j'ai vu mes beaux rêves s'enfuir, je me suis dit que ça ne valait pas la peine d'en fabriquer d'autres; il vaut mieux apprendre à s'en passer. J'essayai; j'avais l'air d'un ivrogne qui peu à peu tache de se déshabituer du vin. Mes efforts ne furent pas inutiles, et bientôt je ne vis dans le passé qu'un programme d'aventures insignifiantes et fort communes.

Avoir un prétexte pour se lamenter est une consolation comme une autre.

Ma vie jusqu'ici n'a été qu'une suite de désappointements, qui me font rire maintenant, rire de moi et des autres. Je n'ai fait qu'effleurer *tous* les plaisirs, et sans en avoir joui, j'en suis dégoûté.

La volonté s'épuise à force de patienter. C'est horrible quand on est tout à fait désabusé de tout ce qui nous force d'avancer dans l'existence!

Mourir une balle de plomb dans le cœur, vaut bien une lente agonie de vieillard.

Eh bien, quoi? Si je dois mourir, je mourrai! C'est une bien petite perte pour le monde. Et puis, je m'ennuie bien. Je ressemble à un homme qui bâille dans un bal, et ne va pas dormir, parce que sa voiture n'est pas là... mais la voiture est prête... Adieu!...

* * *

M. J. L e r m o n t o f f

**SENTENZEN, MAXIMEN UND
REFLEXIONEN**

In jedem Kampf mit den Menschen oder mit dem Schicksal empfindet die Seele einen unbestimmbaren, obgleich wahren Genuß.

Wo gesungen wird, kehrt das Glück ein.

Gesang und Liebe sind des Dichters Leben, das ohne diese grau und öde ganz, wie mächt'ger Himmel ohne Sternenglanz.

In seiner frühesten Jugend kann der Mensch ein Träumer sein. Er schwelgt mit Vorliebe abwechselnd in finstere, dann wieder in leuchtenden Bildern, die ihm seine unstete und gierige Phantasie ausmalt. Aber was wird ihm von alledem bleiben? Nichts als eine große Müdigkeit, wie nach einem nächtlichen Kampf mit einem Gespenst, und eine verschwommene, wehmütige Erinnerung.

Wollen nicht viele Menschen, wenn sie ins Leben eintreten, es als ein Alexander der Große oder Lord Byron beschließen, und dabei bleiben sie ihr Leben lang kleine Bürokraten?

Wozu lebt der Mensch? Zu welchem Zweck ist er geboren worden? Es gibt doch sicherlich einen, und sicherlich ist er zu Hohem bestimmt, denn er spürt in seiner Seele unermessliche Kräfte. Wehe ihm, wenn er diese Bestimmung nicht erraten hat, wenn er sich von den Verlockungen hoher und undankbarer Leidenschaften hinreißen läßt. Ihren Schmelzofen wird er hart und kalt wie Eisen verlassen, aber die Glut edler Bestrebungen, die schönste Blüte des Lebens, wird für immer verloren sein.

Wer es hören soll, der hört es; wer es nicht hören soll, der versteht es nicht.

Mancher hat viel gesehen und weiß so gut wie nichts, aber was er weiß, behält er schön für sich.

Weder Ruhm noch Glück von Wissenschaften abhängen, weil die glücklichsten Menschen die Unwissenden sind, und Ruhm, Erfolg – um sie zu gewinnen, muß man nichts als geschickt sein!

Aber wer weiß denn genau, ob er von etwas überzeugt ist oder nicht? Wie oft halten wir eine Täuschung der Gefühle oder eine Verirrung der Vernunft für eine Überzeugung!

Was für grausame Folgen kann eine geringfügige Begebenheit mitunter haben!

Wenn die Menschen mehr überlegten, würden sie zu der Überzeugung gelangen, daß es nicht lohnt, sich so arg um das Leben zu sorgen.

Freuden vergißt man, Leid aber niemals!

Es ist nutzlos und unvernünftig, dem entschwundenen Glück nachzujagen.

Ich hasse die Menschen, damit ich sie nicht verachten muß, denn sonst wäre das Leben eine allzu widerliche Farce.

Die Geschichte einer Menschenseele, auch der kleinsten, ist fast fesselnder und nützlicher als die eines ganzen Volkes, besonders wenn sie das Ergebnis der Beobachtungen ist, die ein reifer Geist an sich vornimmt, und wenn sie ohne den eitlen Wunsch, Teilnahme oder Bewunderung zu wecken, geschrieben ist.

Wir verzeihen fast immer, was wir verstehen.

Leidenschaften sind nichts anderes als Ideen in ihrem ersten Entwicklungsstadium; sie sind nur dem Jünglingsherzen eigen, und ein Narr ist, der denkt, sie werden ihn sein Lebtage leiten. Viele ruhige Ströme beginnen als tobende Wasserfälle, doch keiner springt und schäumt bis ans Meer hinan.

Man kann die Menschen und ihre schwachen Seiten nicht kennen, wenn man sich sein Leben lang allein mit sich beschäftigt.

O Eitelkeit, du bist der Hebel, mit dem Archimedes die Weltkugel auszuheben gedachte!

Die Glut edler Bestrebungen ist die schönste Blüte des Lebens.

Ein schwarzer Schnurrbart und schwarze Brauen trotz der hellen Haarfarbe ist ein Zeichen von Rasse beim Menschen, ebenso wie die schwarze Mähne und der schwarze Schweif bei einem Schimmel.

Nicht mit dem Armen zu schlenkern ist ein sicheres Zeichen für eine gewisse Verslossenheit des Charakters.

Ist Ihnen diese Eigenart bei manchen Menschen noch nicht aufgefallen: die Augen des Menschen lachen nie, wenn er lacht? Das ist ein Zeichen entweder für einen schlechten Charakter oder für einen tiefen unstillbaren Kummer.

Man ist von klein auf ein Widerspruchsgeist. Das ganze Leben des Menschen war nichts als eine endlose Kette von traurigen und unglücklichen Widersprüchen, die sich gegen das Herz oder die Vernunft richteten. Die Anwesenheit eines Enthusiasten erfüllt ihn mit knarrender Kälte, und man glaubt, häufiger Verkehr mit einem müden Phlegmatiker würde ihn zum leidenschaftlichen Träumer machen.

Man darf einen reuigen Sünder nie abweisen. Er könnte aus Verzweiflung etwas doppelt Verwerfliches tun.

Es gibt Menschen, die selbst in ihrer Verzweiflung komisch sind.

Traurigkeit in Gesellschaft ist immer lächerlich und allzu große Heiterkeit ungehörig.

Der alte, erbärmliche Witz! Aber Rußland ist anscheinend so eingerichtet, daß sich alles außer derartigen Torheiten erneuert.

Selbst das zauberhafteste Zaubermärchen würde bei uns wohl kaum dem Vorwurf entgehen, es trachte nach Beleidigung der Persönlichkeit.

An einem Menschen, der seine alten Freunde vergißt, ist nichts Gutes dran!

Ich eigne mich nicht für die Freundschaft. Von zwei Freunden ist der eine stets der Sklave des anderen, wenngleich sich keiner von beiden das eingesteht. Sklave kann ich nicht sein, und gebieten ist in diesem Falle eine ermüdende Tätigkeit, weil man dabei zugleich täuschen muß; überdies habe ich Diener und Geld!

Ich würde eher einem Feind als einem Freund eine Gefälligkeit erweisen, denn das hieße seine Wohltätigkeit verkaufen, der Haß aber wüchse mit der Großmut des Gegners.

So sind alle Menschen, sogar die besten und klügsten! Sie kennen im voraus alle bösen Seiten einer Tat und – verhelfen, raten und ermuntern sogar dazu, wenn ihnen kein anderes Mittel brauchbar scheint. Aber hinterher waschen sie ihre Hände in Unschuld und wenden sich entrüstet von demjenigen ab, der sich erdreistete, die ganze Last der Verantwortung auf sich zu nehmen. So sind sie alle, sogar die besten und klügsten!

Wenn ich an den nahen und möglichen Tod denke, denke ich einzig an mich; andere tun nicht einmal das. Die Freunde, die mich morgen vergessen haben oder – noch schlimmer – von mir Gott weiß was für erlogene Geschichten erzählen werden, die Frauen, die in den Armen eines anderen über mich lachen werden, um keine Eifersucht auf den Verstorbenen zu wecken – Gott mit ihnen!

Es ist alles Unsinn auf der Welt! Die Natur ist ein dumme Hur', das Schicksal ein blindes, lahmes Pferd und das Leben ein Groschen wert!

Wo es nicht besser wird, da wird es schlechter, und vom Schlechten zum Guten ist es wiederum auch nicht weit.

Vorsicht kann nie schaden.

Ich offenbare meine Geheimnisse nie selbst, sondern habe es sehr gern, wenn andere sie erraten, weil ich sie auf diese Weise nötigenfalls ableugnen kann.

Es ist eine gute Regel, nichts endgültig abzulehnen und an nichts blind zu glauben.

Das ist meine Taktik: um sich irgendwo gut einzuführen, muß man die Leute amüsieren.

Ich liebe meine Feinde, wenn auch nicht im Sinne der Christen. Sie belustigen mich und bringen mein Blut in Wallung. Immer auf der Hut sein, jeden Blick, die Bedeutung jedes Wortes erfassen, Absichten erraten, Verschwörungen ausheben, so tun, als sei man überlistet, und plötzlich mit einem einzigen Stoß das ganze riesige und mühsam errichtete Gebäude aus Listen und Intrigen einreißen – das ist es, was ich Leben nenne!

Flieh der Begeisterung Todesschlingen; sie ist des kranken Geistes verzücktes Zerrgesicht, gefesselter Gedanken Ringen.

Die Liebe?... ihr flücht'ger Genuß ist der Mühe nicht wert, und ewig lieben ist unmöglich. Im Herzen wird bald jede Spur des Vergangnen verzehrt, und Freude, wie Gram, ist hier kleinlich und kläglich.

Mädchen haben wir, ich weiß, ihre Augen sind wie Sterne; lieben, ja, das will ich gerne, doch nicht um der Freiheit Preis.

Wer sich einmal nimmt ein Weib, geht der ganzen Welt verloren, ach, und bald hängt er die Ohren gibt's wohl lust'gen Zeitvertreib?

Ein seltsames Ding ist das menschliche Herz, und das weibliche im besonderen!

Die Liebe ist wie das Feuer – sie erlischt ohne Nahrung. Vielleicht erreicht die Eifersucht, was Bitten nicht vermochten?

Wir betrügen uns oft selber, wenn wir denken, eine Frau liebe uns unserer körperlichen oder sittlichen Vorzüge wegen; freilich, sie bereiten das Herz vor, machen es geneigt, für den Empfang des heiligen Feuers. Trotzdem entscheidet die erste Berührung.

Es dürfte sich wohl kaum ein junger Mann finden (selbstverständlich einer, der in der großen Welt gelebt hat und gewohnt ist, seine Eitelkeit zu hätscheln), den es nicht unangenehm berührt, wenn er einer schönen Frau begegnet, die seine müßige Aufmerksamkeit fesselt und plötzlich ganz ungeniert in seiner Gegenwart einen anderen, ihr ebenso unbekanntem Mann auszeichnet.

Bloß die Liebe, die wir von den Augen ablesen, verpflichtet die Frau zu nichts, ein Wort, dagegen...

Man muß den Frauen Gerechtigkeit widerfahren lassen, sie haben einen Instinkt für die seelische Schönheit.

Das Mitleid ist ein Gefühl, dem die Frauen so leicht verfallen.

Das Gespräch zwischen Geliebten ist ein jener Gespräche, die, zu Papier gebracht, keinen Sinn haben, die man nicht wiederholen und sich nicht einmal merken kann – die Farbe des Klanges wandelt und ergänzt die Bedeutung der Worte, wie in der italienischen Oper.

Seit der Zeit, da Dichter schreiben und Frauen sie lesen (wofür ihnen innigst gedankt sei), sind die Frauen so oft Engel genannt worden, daß sie in ihrer Herzenseinfalt tatsächlich dieses Kompliment ernst genommen und dabei vergessen haben, wie die gleichen Dichter für Geld Nero als Halbgott priesen.

Rasse ist bei Frauen wie bei Pferden die Hauptsache. Die Rasse zeigt sich meist im Gang, in den Händen und Beinen; besonders die Nase hat viel zu bedeuten.

Die Liebe des Naturkindes ist nur wenig besser als die Liebe des vornehmen Fräuleins; die Einfalt und Ursprünglichkeit der einen werden ebenso langweilig wie die Koketterie der anderen.

Ein unruhiges Liebesverlangen quält uns in den ersten Jugendjahren, treibt uns von einer Frau zur anderen, bis wir eine finden, die uns nicht mag; hier beginnt dann unsere Beständigkeit, die wahre unendliche Leidenschaft, die sich mathematisch mit einer aus einem Punkt ins Unendliche verlaufenden Linie wiedergeben läßt; das Geheimnis dieser Unendlichkeit liegt nur in der Unmöglichkeit, das Ziel, das heißt das Ende, zu erreichen.

Ich hasse die Frauen, damit ich sie nicht lieben muß, denn sonst wäre das Leben ein allzu lächerliches Melodrama.

Ohne Freude war unsere kurze Liebe. Ohne Trauer wird die Trennung sein.

Ich muß gestehen, daß ich Frauen mit Charakter nicht sonderlich liebe – es steht ihnen nicht!

Die Frauen! Die Frauen! Wer kann sie verstehen? Ihr Lächeln widerspricht ihren Blicken, ihre Worte versprechen und locken, aber der Klang ihrer Stimme stößt ab. Bald begreifen und erraten sie im Handumdrehen unsere geheimsten Gedanken, bald verstehen sie die deutlichsten Anspielungen nicht.

Es gibt nichts, was paradoxer wäre als der weibliche Verstand – es ist schwer, eine Frau von etwas zu überzeugen; man muß die Frauen so weit bringen, daß sie selber überzeugen; die Beweisfolge, mit der sie ihre Vorurteile ausmerzen, ist sehr originell; um ihre Dialektik zu studieren,

muß man in seinem Hirn alle Schulregeln der Logik über den Haufen werfen.

Ach, Geschenke! Was tut eine Frau nicht alles für einen bunten Lappen!

Frauen lieben nur Männer, die sie nicht kennen.

Was tut eine Frau nicht alles, um ihre Nebenbuhlerin zu kränken! Ich erinnere mich, eine Frau hatte sich einst deshalb in mich verliebt, weil ich eine andere liebte.

Wenn ein Mann jene Phase des Seelenlebens schon hinter sich hat, in der man nur das Glück sucht, in der das Herz die Notwendigkeit spürt, einen Menschen stark und leidenschaftlich zu lieben, will er jetzt nur geliebt werden, und das von möglichst wenigen; es kommt ihm sogar vor, als genüge ihm eine einzige dauerhafte Bindung. Erbärmliche Trägheit des Herzens!

Und doch liegt ein grenzenloser Genuß im Besitz einer jungen kaum erblühten Seele! Sie ist wie ein Blume, die ihren schönsten Duft dem ersten Sonnenstrahl entgegenhaucht; man muß sie in diesem Augenblick pflücken und sie, wenn man sich an ihrem Duft satt getrunken hat, auf den Weg werfen – vielleicht hebt sie jemand wieder auf.

Wer selbst bringt es nicht mehr fertig, unter dem Einfluß von Leidenschaft zu rasen; und wer spürt in sich die unersättliche Gier, die alles verschlingt, was ihr in den Weg tritt, der betrachtet die Leiden und Freuden der anderen nur im Zusammenhang mit sich selbst, wie eine Speise, die seine seelischen Kräfte erhält.

Es gibt ein häßliches, aber unbesiegbares Gefühl, das uns veranlaßt, die süßen Verirrungen unseres Nächsten zu zerstören, um das kleinliche Vergnügen zu haben, ihm auf seine verzweifelte Frage, woran er glauben solle, zu antworten: „Mein Freund, mir ist es ebenso ergangen! Doch du siehst, ich esse zu Mittag, esse zu Abend, schlafe gut und hoffe, ich werde einst ohne Geschrei und Tränen zu sterben verstehen.“

Ehrgeiz ist nichts anderes als Machthunger.

Der Ehrgeiz, den die Verhältnisse erstickt haben, ist in anderer Gestalt wiedererstanden. Sein höchstes Vergnügen ist alles, was ihn

umgibt, seinem Willen unterzuordnen. Das Gefühl der Liebe, Ergebenheit und Furcht zu erwecken – ist das nicht erstes Anzeichen und höchster Triumph der Macht?

Für einen anderen Menschen Ursache zu Leiden und Freuden zu werden, ohne wirklich dazu berechtigt zu sein – ist dies nicht die süßeste Speise für unseren Stolz?

Und was ist denn Glück? Befriedigter Stolz. Wenn ich mich für besser und mächtiger als alle auf der Welt halten könnte, würde ich mich glücklich schätzen; wenn mich alle liebten, würde ich unerschöpfliche Quellen der Liebe in mir entdecken.

Ich zweifle gern an allem; diese Eigenschaft behindert keineswegs die Entschlossenheit des Charakters – im Gegenteil: was mich betrifft, so schreite ich stets kühner voran, wenn ich nicht weiß, was mich erwartet. Etwas Ärgeres als der Tod kann keinen treffen – und dem Tod entgeht man nicht!

Ideen sind organische Geschöpfe: ihre Geburt gibt ihnen bereits die Form, und diese Form ist die Tat; derjenige, in dessen Kopf mehr Ideen entstehen, handelt mehr als die anderen; daher muß ein Genie, das an einen Bürotisch gefesselt ist, verkümmern oder verrückt werden, ebenso wie ein Mensch mit einem robusten Körperbau bei einer sitzenden Beschäftigung und bescheidenem Lebenswandel am Schlagfluß stirbt.

Wie öde das Leben auf dieser Welt ohne Dummköpfe wäre!

Zwei gescheiterten Menschen wissen im voraus, daß man sich über alles endlos streiten kann, und streiten sich deshalb nicht. Sie kennen voneinander fast alle noch so geheimen Gedanken, ein einziges Wort ist für sie eine ganze Geschichte, und sie sehen den Keim eines jeden ihrer Gefühle durch eine dreifache Hülle hindurch. Das Traurige mutet sie lächerlich, das Lächerliche traurig an, und im Grunde sind sie, um die Wahrheit zu sagen, gegen alles recht gleichgültig, außer gegen sich selbst.

Ein Austausch von Gefühlen und Gedanken kann zwischen zwei gescheiterten Menschen nicht zustande kommen: sie wissen voneinander alles, was sie wissen wollen, und mehr wollen sie nicht wissen. Es bleibt nur ein Mittel: Neuigkeiten mitteilen.

Kluge Menschen lieben die Zuhörer mehr als die Erzähler.

Sprechen von Überzeugungen ist Unsinn. Überzeugungen sind immer philosophische und metaphysische Dummheiten. Und was für Überzeugungen kann ein Mensch eigentlich haben? Was mich betrifft, so bin ich nur von einem einzigen überzeugt. Davon, daß ich früher oder später eines schönen Tages sterben werde. Und wenn Sie außerdem noch eine Überzeugung mehr besitzen, und zwar die, daß Sie an einem überaus widerwärtigen Abend das Unglück hatten, geboren zu werden, dann sind Sie reicher als ich.

Die Menschen von ihren Lastern zu heilen, wäre ein stolzer Traum für den Autor eines Buches. Gott behüte ihn vor solcher Verblendung!

Es genügt, daß die Krankheit gezeigt ist. Wie sie geheilt werden muß – das weiß Gott allein!

Die Menschen sind zur Genüge mit Süßigkeiten gefüttert worden; sie haben sich daran den Magen verdorben. Was not tut, sind bittere Medizin, unangenehme Wahrheiten.

In jedem Buch ist das Vorwort das Erste und Letzte zugleich; es dient entweder als Erklärung der Ideen des Werkes oder als Rechtfertigung und Antwort auf Kritiken. Aber gewöhnlich kümmern sich die Leser nicht um die moralischen Ideen und die Angriffe in den Journalen, und deswegen lesen sie die Vorworte nicht.

Alles hat seine Art; vieles spricht man nicht aus, sondern errät es.

Das Publikum gleicht dem Provinzler, der aus der Unterhaltung zweier Diplomaten einander feindlich gesinnter Höfe die Überzeugung gewinnt, daß sie der gegenseitigen zärtlichsten Freundschaft zuliebe ihre Regierung betrügen.

Das Publikum ist noch so jung und unerfahren, daß es die Fabel nicht versteht, wenn es am Schluß nicht die Moral findet. Es erfaßt den Humor nicht, spürt nicht die Ironie; es ist einfach schlecht erzogen.

Es ziemt sich nicht in einer anständigen Gesellschaft und in einem anständigen Buch, laut zu schimpfen. Die neuzeitliche Bildung hat eine schärfere, beinahe unsichtbare, aber desto tödlichere Waffe erfunden, die unter dem Deckmantel der Schmeichelei unfehlbar und sicher trifft.

Der klare, gesunde Menschenverstand verzeiht das Böse überall dort, wo er seine Notwendigkeit oder die Unmöglichkeit seiner Ausmerzung sieht.

Erstaunlich ist die Fähigkeit des russischen Menschen, sich den Sitten der Völker anzupassen, in deren Mitte er leben muß.

Die Russen sind es nicht gewohnt, Inschriften zu trauen.

Ein schlechter Witz ist kein Trost für einen russischen Menschen.

Das Böse gebiert Böses; das erste Leiden gibt einen Begriff von dem Vergnügen, einen anderen zu quälen. Die Idee des Bösen kann nicht in den Kopf eines Menschen dringen, ohne daß er sie auf die Wirklichkeit anzuwenden wünschte.

Die Enttäuschung breitete sich, wie alle Moden, zunächst in den höchsten Kreisen aus und sickerte allmählich zu den untersten Schichten durch, die sie nun abtrügen. Diejenigen, die sich mehr als die anderen und wirklich langweilen, seien heutzutage darauf bedacht, dieses Mißgeschick wie ein Laster zu verbergen.

Um sich leichter des Weines enthalten zu können, versucht der Mensch sich einzureden, alles Unglück in der Welt käme vom Trinken.

Es ist ein betrüblicher Anblick, wenn ein Jüngling seine besten Hoffnungen und Träume begräbt, wenn vor ihm der rosa Schleier weggerissen wird, durch den er die Dinge und die menschlichen Gefühle bislang gesehen hat; immerhin besteht noch die Hoffnung, er werde seinen alten Wahn durch einen neuen, ebenso unbeständigen, aber dafür ebenso süßen ersetzen. Aber womit soll ein Mensch im Alter ihn ersetzen? Unwillkürlich wird sein Herz sich verhärten und seine Seele sich verschließen.

Das Gesicht eines Menschen, der einige Stunden später sterben muß, ist oft von dem unvermeidlichen Schicksal seltsam gezeichnet, so daß sich das geübte Auge schwerlich täuschen kann.

Ich gestehe, ich bin sehr voreingenommen gegen alle Blinden, Einäugigen, Tauben, Stummen, Einbeinigen, Einarmigen, Buckligen und so weiter. Ich habe beobachtet, daß stets ein eigenartiger Zusammenhang

zwischen dem Äußeren eines Menschen und seiner Seele besteht, als erlitt bei dem Verlust eines Gliedes auch die Seele Einbuße.

Wenn wir uns von den Bedingungen der Gesellschaft entfernen und uns der Natur nähern, werden wir unwillkürlich zu Kindern. Alles Erworbene fällt von der Seele ab, und sie wird so, wie sie es einst war und sicher eines Tages wieder sein wird.

Die einfachen Herzen empfinden die Schönheit und Erhabenheit der Natur stärker und hundertmal lebhafter als wir, die wir verzückt in Worten und auf Papier von ihr erzählen.

Viele ruhige Ströme beginnen als tobende Wasserfälle, doch keiner springt und schäumt bis ans Meer hinan. Diese Ruhe ist jedoch häufig das Zeichen einer großen, wenngleich verborgenen Kraft.

Reichtum und Tiefe der Gefühle und Gedanken dulden keine rasenden Ausbrüche; während die Seele leidet und genießt, legt sie sich streng über alles Rechenschaft ab und überzeugt sich davon, daß es so sein müsse; sie weiß, daß sie ohne ein Gewitter in der ständigen Sonnenglut verdorren würde; sie ist durchdrungen von ihrem eigenen Leben, kost und straft sich selbst wie ein geliebtes Kind. Erst auf dieser höchsten Stufe der Selbsterkenntnis weiß der Mensch die Gerechtigkeit Gottes zu schätzen.

Wenn es tatsächlich eine Vorherbestimmung gibt, wozu ist uns dann Wille und Vernunft gegeben? Warum müssen wir über unsere Handlungen Rechenschaft ablegen?

Nein, nichts such ich, was ich einst besessen, und was war, das hab ich nie bereut. Ruhn will ich und mich selbst vergessen – wunschlos ruhn in alle Ewigkeit. Doch nicht jenen Schlaf in Grabestiefe suche ich in kalter, dunkler Gruft. Atmen soll die Brust, als wenn ich schlief, atmen will ich warme Sommerluft. Einer süßen Stimme will ich lauschen, die mir Tag und Nacht von Liebe singt. Über mir soll eine Eiche rauschen, die um meinen Schlaf die dunklen Zweige schlingt.

Es ist ja lächerlich! Es hat einst äußerst kluge Menschen gegeben, die wähnten, die himmlischen Gestirne nähmen Anteil an unseren nichtigen Streitigkeiten um einen Fetzen Land oder eingebildete Rechte! Und wie sieht es wirklich aus? Diese Lämpchen, die ihrer Meinung nach nur entzündet wurden, um ihre Schlachten und Siege zu bescheinigen, erstrahlen im früheren Glanz, aber die Leidenschaften und Hoffnungen

jener Menschen sind längst mit ihren Trägern erloschen, wie das kleine Feuer, das der sorglose Wanderer am Waldrand entfacht hat. Was für eine Willenskraft gab ihnen jedoch die Überzeugung, daß der ganze Himmel mit seinen zahllosen Bewohnern sie voll stummer, doch unwandelbarer Anteilnahme betrachte! Aber wir, ihre erbärmlichen Nachfahren, die wir auf der Erde umherirren, ohne Überzeugungen und Stolz, ohne Genuß und Furcht – außer jener unwillkürlichen Angst, die das Herz bei dem Gedanken an das unvermeidliche Ende ergreift, – wir sind großer Opfer nicht mehr fähig, weder zum Wohle der Menschheit noch zu unserem eigenen Glück, weil wir wissen, daß es unmöglich ist, und gleichgültig schreiten wir von Zweifel zu Zweifel, verfallen wir wie unsere Vorfahren von einem Irrtum in den anderen, ohne daß uns gleich ihnen die Hoffnung oder wenigstens jener unbestimmbare, obgleich wahre Genuß zuteil wird, den die Seele in jedem Kampf mit den Menschen oder mit dem Schicksal empfindet.

Zufällig hassen wir und zufällig wir lieben, kein Opfer bringen wir der Liebe noch der Wut, in unsren Seelen ist geheimer Frost verblieben, loht Feuer auch in unsrem Blut.

Lohnt es sich nach alledem noch, zu leben? Doch lebt man – aus Neugier; man erwartet etwas Neues... Es ist lächerlich und ärgerlich!

Warum hast du gehofft? Etwas wünschen und erstreben – das verstehe ich, aber wer wird denn hoffen?

Es gibt Menschen, denen es vom Schicksal vorherbestimmt ist, daß sie mancherlei ungewöhnliche Dinge erleben.

Was ungewöhnlich angefangen hat, muß ebenso enden.

Was dann? Wenn ich sterben soll, dann sterbe ich – es wäre kein großer Verlust für die Welt; auch ich selbst finde alles schon todlangweilig. Ich bin wie ein Mensch, der auf dem Ball gähnt und der nur deswegen nicht zum Schlafen nach Hause fährt, weil seine Kutsche noch nicht da ist. Die Kutsche ist vorgefahren? Lebt wohl!

Beendet ist der Weg, die Stunde schlug, es ist Zeit heimzukehren.

* * *

M. I. L e r m o n t o f f
SENTENZE, MASSIME E RIFLESSIONI

L'anima trova un'inenarrabile ma pieno tripudio nella lotta contro gli uomini e contro il destino.

Quando si canta si è felici.

Nella prima giovinezza, l'uomo può essere un pensatore. Gli compiace allora di accarezzare, di volta in volta, le immagini ora cupe ora iridescenti, create dalla sua fantasia avida e inquieta. Ma che cosa gli ne rimarrà? Solo stanchezza, come dopo una battaglia notturna con uno spettro; e un confuso ricordo, colmo di rimpianti.

Forse non son pochi coloro che all'inizio della loro vita sognano di diventare un Alessandro Magno o un Lord Byron, e invece rimangono per sempre dei piccoli burocrati?

Perché l'uomo vive? Per quale scopo è nato!.. E' probabile che questo scopo esista e ch'egli sia destinato ad alte mete. Nell'animo suo si agitano forze immense. Che sventura se non a saputo indovinare la sua sorte, e s'è lasciato allettare dall'esca di passioni vane e ingrate, che l'hanno forgiato duro e freddo come il ferro; ma ha perso per sempre la fiamma delle nobili aspirazioni, il più bel fiore della vita.

Chi deve sentire sente, e chi non deve sentire non può capire.

Avete visto molto, ma sapete poco; e quello che sapete, tenetelo nella bocca.

Non procurano in alcun modo né la gloria né la felicità, giacché gli uomini più felici sono gli incolti, mentre la gloria non è che un colpo di fortuna, e per ottenerla basta essere abili.

Ma chi sa per certo se è convinto o no di una cosa? Quante volte noi prendiamo per convinzione l'inganno dei sensi o l'abbaglio della ragione!

Vedete come talvolta un caso di poco conto può avere crudeli conseguenze!

Si la gente ragionasse di più, si convincerebbe che la vita non merita poi tante brighe.

Le gioie si dimenticano, i dolori mai.

E' inutile e insensato inseguire la felicità perduta.

La storia di un'anima umana, foss'anche della più meschina, è forse più interessante e utile della storia di un intero popolo, specialmente quando è il frutto di osservazioni fatte da uno spirito maturo sopra se stesso, e quando è scritta senza il vano proposito di suscitare partecipazione o meraviglia.

Quasi sempre si perdona ciò che si comprende.

Le passioni non sono altro che idee al loro primo stadio; prerogative della giovinezza del cuore, ed è sciocco chi crede di esserne dominato per tutta la vita. Molti fiumi tranquilli cominciano con cascate fragorose, ma nessuno precipita spumeggiando fino al mare.

Non si può conoscere gli uomini e le loro debolezze, essendosi occupato per tutta la vita soltanto de si stesso.

O amor proprio! Sei la leva con cui Archimede voleva sollevare il mondo!

La fiamma delle nobili aspirazioni è il più bel fiore della vita.

I baffi e le sopracciglia nere, in contrasto col colore chiaro dei capelli, è un segno di razza nell'uomo, come la criniera et la coda lo sono in un cavallo bianco.

Non gesticolare mai è il segno di una certa ritenutezza di carattere.

Non avete mai badato a questa stranezza che alcuni uomini hanno: l'uomo ride e i suoi occhi non ridono con lui? E' il segno di un'indole cattiva o quanto meno di una profonda continua tristezza.

Si può avere la passione innata di contraddire. Tutta la vita di quest'uomo non è stata che una catena di tristi et disgraziate contraddizioni del cuore o della ragione. La presenza di un entusiasta lo gela. Ma se avesse frequentato la compagnia di un uomo flemmatico e indolente, potrebbe diventare un sognatore appassionato.

Non bisogna mai respingere il malfattore che si pente: la disperazione portrebbe indurlo a raddoppiare la propria malvagità.

Ma ci sono degli uomini nei quali perfino la disperazione è ridicola!

La tristezza in società è ridicola e l'allegria sconveniente.

Vecchia e pietosa facezia! Ma, evidentemente, la Russia è così fatta che tutto vi si rinnova, tranne simili assurdità.

Presso di noi, la più magica delle favole a stento sfugge al rimprovero di oltraggio alla persona umana.

Non c'è niente da aspettate di un uomo che si dimentica dei vecchi amici.

Io non sono incline all'amicizia. Di due amici, uno è sempre lo schiavo dell'altro, benché spesso nessuno dei due lo voglia ammettere. Schiavo non potrei essere, e dominare, in questo caso, diventa una fatica estenuante, giacché bisogna usare anche l'inganno. E poi, oltre a tutto ho servitori e denaro!

Avrei fatto più volentieri un favore a un nemico che a un amico: giacché quest'ultima cosa non altro significa che speculare sulla propria carità, quando invece si sa che l'odio aumenta in ragione della generosità dell'avversario.

Ecco gli uomini! Sono tutti uguali: conoscono in anticipo tutto il brutto di un'azione, vi porgono aiuto, vi consigliano, vi approvano, perfino, vedendo l'impossibilità della scelta, e poi se ne lavano le mani, e voltano le spalle indignati a chi ha dimostrato il coraggio di assumersi tutto il peso della responsabilità! Tutti uguali, anche i migliori ed i più intelligenti!

Al pensiero di una vicina e possibile morte, bado solo a me stesso; certuni, non fanno neppur questo. Gli amici che domani mi dimenticheranno o, peggio, inventeranno sul mio conto chissà quali panzane, e le donne che, abbracciando un altro, rideranno di me per non risvegliare la gelosia verso un defunto... ebbene, che Dio li protegga!

Tutto al mondo è assurdo: la natura è cretina, il destino è un tacchino, la vita una monetina!

Quando non si sta meglio si sta peggio, et dal male al bene la distanza è poca.

Un po' di prudenza non è mai di troppo.

Io non svelo mai i miei segreti, ma mi piace moltissimo che gli altri li indovinino, perchè, in tal modo, posso sempre negare, se del caso.

E' un buon principio di non negare mai nulla in assoluto e di non fidarsi ciecamente di nulla.

Amo i nemici, sebbene non con spirito cristiano. Mi divertono, mi rimescolano il sangue. Star sempre all'erta, afferrare a volo ogni sguardo, il significato di ogni parola, indovinare le intenzioni, soffocare i complotti, fingersi ingannato e poi, d'un solo colpo, rovesciare l'enorme e laborioso castello delle astuzie e degli intrighi altrui... questa, per me, è la vita!

Strana cosa è il cuore umano in genere, e quello femminile in specie!

L'amore è come il fuoco, che senza alimento si spegne. Chi sa che la gelosia non ottenga, essa, quello che finora non hanno ottenuto le suppliche!

Noi spesso ci inganniamo molto pensando che una donna ci ami per le nostre qualità fisiche o morali. Certamente esse preparano, predispongono il cuore a ricevere la sacra fiamma, e tuttavia è il primo contatto che decide la cosa.

E' ben difficile che un giovane, incontrando una donna talmente graziosa da incatenare a sè la sua svagata attenzione, et accorgendosi a un tratto che gli preferisce un altro come lui sconosciuto, è ben difficile, dico, che un tal giovane (del gran mondo, s'intende, e abituato a viziare il suo amor proprio), non sia colpito spiacevolmente de ciò.

L'amore che leggiamo negli occhi non impegna la donna in nulla, mentre le parole...

Bisogna render giustizia alle donne: hanno l'istinto della bellezza interiore.

La compassione è un sentimento al quale si sottomettono tanto facilmente tutte le donne.

La conversazione tra due amanti è una di quelle conversazioni che, sulla carta, non hanno più senso: non si possono né ripetere né ricordare. Come nell'opera italiana, il significato dei suoni sostituisce et completa quello delle parole.

Dacché i poeti scrivono e le donne li leggono (cosa questa per la quale esse si meritano profonda gratitudine), i poeti le hanno tante volte chiamate angeli e le donne, nel loro candore, hanno realmente creduto al complimento... dimenticandosi, però che quegli stessi poeti, per denaro, hanno magnificato Nerone come un semidio!

Nelle donne, come nei cavalli, la razza ha molta importanza. Essa per lo più si rivela nell'andatura; nelle mani e nei piedi; e il naso specialmente vuol dir molto.

L'amore di una selvaggia è di poco superiore a quello di una nobile signora. L'ignoranza e il candore dell'una ci importunano come la civetteria dell'altra.

L'irrequieto bisogno di amore ci tormenta nei primi anni della giovinezza, buttandoci dalle braccia di una donna nelle braccia di un'altra, finché non ne troviamo una che ci detesti. Da questo momento ha inizio la nostra perseveranza, una passione senza fine, rappresentabile matematicamente con una linea che partendo da un punto si perde nello spazio. Il segreto di questa continuità illimitata sta solo nell'impossibilità di raggiungere la meta, cioè la fine stessa.

Devo dire che le donne di carattere non mi piacciono affatto: il carattere non è affar loro!

Donne! Donne! Chi potrà mai capirle? I loro sorrisi contraddicono i loro sguardi, le loro parole promettono e lusingano, mentre il suono della loro voce respinge. A volte afferrano a volo e scoprono il nostro più recondito pensiero, a volte non capiscono le allusioni più palesi.

Ah, i regali! Che cosa non fa una donna per uno stracetto colorato!

Nulla è più assurdo della mentalità femminile: è difficile convincere le donne di qualcosa, bisogna lasciare che si convincano da

sole: le argomentazioni di cui si servono per distruggere i propri pregiudizi sono molto originali. Per abituarsi alla loro dialettica dobbiamo invertire mentalmente tutte le regole della logica imparate a scuola.

Alle donne piacciono unicamente gli uomini che non conoscono.

Che cosa non farebbe una donna per ferire la propria rivale? Una volta, ricordo, una donna mi ha amato soltanto perché ne amavo un'altra.

Se è già lontana per l'uomo quella stagione dello spirito in cui si cerca soltanto la felicità e il cuore sente il bisogno di amare fortemente e appassionatamente qualcuno, ora gli basta di essere amato e non da molti. Perfino che potrebbe accontentarsi di un unico affetto costante: abitudine meschina del cuore!

Ma c'è anche un gaudio immenso nel possesso di una anima giovane, appena dischiusa alla vita! E' come un fiorellino che esala più soave il suo profumo al primo raggio del sole. Bisogna coglierlo in quell'attimo, inebriarsene e poi buttarlo sulla strada: chi sa che qualcuno non lo raccolga!

Chi non è più in grado di abbandonarsi alla follia sotto l'influsso della passione e chi sente in se un'avidità insaziabile, che inghiotte tutto quanto si trova sul suo cammino, considera le sofferenze e le gioie degli altri solo in rapporto a se stesso, come nutrimento al suo spirito.

C'è un sentimento basso, ma invincibile, che ci spinge a distruggere le dolci illusioni di un altro essere, per la meschina soddisfazione di dirgli un giorno, quando, disperato, ci verrà a chiedere in che cosa ancora debbe aver fede: «Amico mio, lo stesso è accaduto anche a me e, come vedi, pranzo, cenò e dormo benissimo, et saprò morire, spero, senza lacrime e lamenti!»

L'ambizione ostacolata dalle circostanze si manifesta sotto altro aspetto: è sete di potere, e non v'è per lei soddisfazione più grande che assoggettare alla sua volontà tutto quello che la circonda. Risvegliare nei propri riguardi l'amore, la devozione e la paura, non è forse il primo indizio e il più grande trionfo di un tale potere?

Essere per qualcuno causa di sofferenze e di gioie, pur non avendo alcun diritto positivo a ciò, non è forse il più dolce alimento per il nostro orgoglio?

E che cosa è mai la felicità? Orgoglio saziato. Se mi ritenessi il migliore e il più potente di tutti gli uomini di questo mondo, sarei felice. Se tutti mi amassero, scoprirei in me stesso sorgenti inesauribili d'amore.

Stupidità e perfidia a contemplare! Ecco su che si volge il mondo!

Mi piace dubitare di ogni cosa: questa disposizione di spirito non toglie risolutezza al carattere, anzi, quanto a me, mi sento più coraggioso proprio quando non so quel che mi aspetta. Infatti, peggio della morte che cosa ci può capitare? E alla morte non si sfugge!

Le idee sono creature organiche. La nascita imprime già loro una forma, et questa forma è l'azione. Chi ha nella testa un maggior numero d'idee agisce più degli altri. Ed ecco perché un uomo di genio, incatenato a un tavolino d'ufficio, non può che morire o impazzire, esattamente come un uomo dalla corporatura vigorosa, che conduca una vita sedentaria e morigerata, muore di un colpo apoplettico.

Senza gli sciocchi la vita sarebbe molto noiosa.

Due persone intelligenti sanno già in anticipo che si può discutere indefinitamente di tutto, perciò non discutono mai. Conoscono i più intimi segreti l'uno dell'altro; una sola parola per loro è tutta una storia. Vedono il seme di ogni loro sentimento attraverso un triplice involucro. Le cose tristi diventano ridicole, e le ridicole, tristi: ma in generale, a onor del vero, sono abbastanza indifferenti a tutto, fuorché a loro stessi.

Tra due persone intelligenti non può esserci un vero scambio di sentimenti e di pensieri: sanno, l'uno dell'altro, tutto quello che vogliono sapere, e sapere di più non gl'interessa affatto. Non loro rimane che un solo rimedio: raccontare le novità.

La gente intelligente preferisce essere ascoltata che ascoltare.

Parlare di convinzioni è inutile. Tutte le convinzioni non sono che le sottigliezze filosofico-metafisiche. Di che convinzioni, proprio, si può parlare? Per quanto mi riguarda, sono convinto soltanto di una cosa. Del fatto che, prima o poi, un bel giorno morirò! E se Lei è convinto anche di un'altra cosa, e cioè che una bruttissima sera ebbe la disgrazia di nascere, allora Lei è più ricco di me.

E' una troppo orgogliosa intenzione per l'autore di un libro di correggere i vizi umani. Che Dio lo preservi da simile presunzione!

Basti, per ora, individuare il male. In quanto a curarlo... lo sa Iddio!

Per un pezzo gli uomini si sono nutriti di dolciumi, e perciò si sono ammalati di stomaco: urgono amare medicine, verità scottanti.

In ogni libro, la prefazione è la prima e, insieme, l'ultima cosa: serve o a chiarire lo scopo del libro, o a giustificarsi e a rispondere alle critiche. Ma, di solito, i lettori non s'interessano del fine morale o degli attacchi della stampa, e perciò non la leggono mai.

C'è modo e modo. Molto non si dice, ma s'indovina.

Il pubblico assomiglia a un provinciale che, ascoltando la conversazione di due diplomatici appartenenti a Corti nemiche, si faccia la convizione che ciascuno di loro inganna il proprio governo a vantaggio di una reciproca tenerissima amicizia.

Il pubblico è così giovane e ingenuo da non capire le favole se in fondo non vi trova una morale; non indovina lo scherzo, non sente l'ironia: in una parola, è educato male.

In una società come si deve, e in un libro come si deve, non c'è posto per l'ingiuria manifesta. La cultura contemporanea ha escogitato un'arma più tagliente, pressoché invisibile e tuttavia mortale: sotto l'apparenza della lusinga, essa inferisce colpi ineluttabili e sicuri.

Il sereno buon senso perdona il male, ovunque lo veda necessario o ineluttabile.

I russi hanno una facilità stupenda di assuefarsi ai costumi dei popoli tra i quali si trovano a vivere.

I russi non sono abituati a prestar fede alle iscrizioni.

Uno stupido giuoco di parole non può consolare un russo.

Il male genera il male. La prima sofferenza ci lasci intravedere quale soddisfazione si provi a tormentare gli altri, a nostra volta; e l'idea

del male non si affaccia impunemente alla mente dell'uomo: egli pensa di attuarla subito.

Il disinganno, come ogni altro sentimento di moda, cominciando dagli strati sociali più alti, era sceso via via a quelli più bassi, esaurendovisi. Oggi, poi, le persone che più delle altre realmente si annoiano cercano di nascondere questa loro disgrazia come un vizio.

Per astenersi dal vino l'uomo, naturalmente, si sforza di convincersi che, a questo mondo, tutte le disgrazie provengono dall'ubriachezza.

E' già abbastanza triste vedere un giovane che perde i propri sogni e le migliori speranze, nel momento in cui il roseo velo attraverso il quale gli apparivano le azioni e i sentimenti degli uomini si apre davanti al suo sguardo: tuttavia può ancora accadere che possa sostituire le vecchie illusioni con le nuove, non meno fallaci ed altrettanto dolci. Ma all'età avanzata, che fare? Involontariamente il cuore s'indurisce e l'anima si chiude.

Spesso sul volto di chi dovrà morire nel volgere di poche ore c'è come lo strano suggello di un destino inesorabile. Difficilmente un occhio esperto potrebbe ingannarsi.

Lo confesso: sono fortemente prevenuto contro tutti i ciechi, gli storpi, i sordi, i monchi, i senza-gamba, i gobbi e così via. Ho fatto caso che c'è sempre un certo strano rapporto fra l'aspetto esteriore dell'uomo e la sua anima; come se, con la perdita di una parte del corpo, anche l'anima si privasse di qualche suo sentimento.

Allontanandoci dalle convenzioni sociali e avvicinandoci alla natura diventiamo involontariamente fanciulli. Ogni sovrastruttura cade dall'anima, che ritorna ad essere quella di un tempo, quella che certamente diventerà ancora.

Nel cuore dei semplici, il senso della bellezza e della grandiosità della natura è cento volte più forte e più vivo che in noi, narratori entusiasti a parole e sulla carta.

Molti fiumi tranquilli cominciano con cascate fragorose, ma nessuno precipita spumeggiando fino al mare. Eppure quella calma spesso è l'inizio di una grande forza, benché nascosta.

La pienezza e la profondità dei sentimenti e dei pensieri non ammettono impeti furiosi. L'anima, soffrendo e inebriandosi, si rende una severa ragione di tutto, e si convince che così dev'essere. Sa che senza temporale l'arsura del sole la inaridirebbe. Si compenetra della sua propria vita, si vezzeggia e si punisce come si fa con un bambino amato. Solo a questo alto grado della conoscenza di sé, l'uomo apprezza la giustizia di Dio.

Se la predestinazione esiste davvero, a che scopo dunque ci è stata data la volontà, la ragione? Perché dobbiamo render conto dei nostri atti?

C'è da divertirsi al pensiero che un tempo erano esistiti uomini molto saggi, fermi nella convinzione che le costellazioni prendessero a cuore le nostre meschine querele per una zolla di terra o per quant'altri mai diritti immaginari!.. E invece? Quelle fiammelle, che a sentir loro ardevano soltanto allo scopo di illuminare le battaglie e le vittorie degli uomini, risplendono ancora del loro antico splendore mentre da un pezzo quelle passioni e speranze si sono spente insieme con gli uomini che le hanno nutrite come un focherello acceso sull'orlo di un bosco da un viandante distratto. In compenso, però, quale forza di volontà infondeva in loro la certezza che il cielo intero, con i suoi innumerevoli abitanti, li sorvegliava dall'alto, con muto ma indefettibile interesse!.. E noi, miseri pronipoti che vaghiamo sulla terra senza convinzioni e orgoglio, senza gioie e paure, se non l'involontario timore che ci addenta il cuore al pensiero della morte inevitabile, noi non siamo più capaci di grandi sacrifici né per il bene degli uomini né per la nostra stessa felicità poiché sappiamo che tutto è inutile. Passiamo indifferenti di dubbio in dubbio, come i nostri antenati trascorrevano di illusione in illusione, senza possedere, come loro, la speranza, e neppure quell'inenarrabile ma pieno tripudio che l'anima trova nella lotta contro gli uomini e contro il destino.

Vale la pena di vivere? Eppure si vive, per curiosità. Si aspetta che capiti qualcosa di nuovo... E' ridicolo, irritante!

Perché hai sperato? Capisco che si desideri una cosa e che si cerchi di ottenerla. Ma sperare?..

Ci son proprio delle persone destinate alle cose più straordinarie!

E' nell'ordine delle cose: ciò che comincia in modo insolito, finisce insolitamente.

Ebbene? se dovrò morire, morirò! Per il mondo non è una gran perdita e, in quanto a me stesso, mi annoio abbastanza. Son come uno che sbadiglia ai balli: non va a dormire solo perché non è ancora arrivata la sua carrozza. Ma eccola, la carrozza... addio!

* * *

M. I. L e r m o n t o f f

**SENTENCES, MAXIMS AND
REFLEXIONS**

From any struggle with man or destiny the soul derives vague but potent sense of joy.

Struggle breeds pride.

Where there is song there is also good fortune.

How an occurrence insignificant in itself may have grave consequences!

In his early youth the man can be a dreamer; he likes to woo the images, now gloomy, now radiant, which his restless, eager imagination draws for him. But what will he derive from it all? Only weariness, like the aftermath of a nocturnal battle with a phantom, and dim memories filled with regrets.

Are there no many who begin life by aspiring to end it like Alexander the Great, or Lord Byron, and yet remain petty civil servants all their lives?

Why does the man live? For what purpose was he born? I daresay there was a purpose, and I daresay fate had something noble in store for him, for he is conscious of untapped powers within him. What misery if he did not divine his predestination, if he allowed himself to be carried away by the temptation of vain passions; he can emerge from their crucible hard and cold like iron, but gone forever will be the ardour of noble aspirations – life's finest flower.

He to whom I sing will hear; others will not understand.

You saw a lot but know little; and what you do know you'd best keep under lock and key.

And life – if you care to look round with cool-headed attention – is simply an empty and rather a second-rate joke.

Neither fame nor happiness depend on learning in the slightest, for the happiest people are the ignorant, and fame is a matter of luck, to achieve which you only have to be shrewd.

But who knows for certain whether he is convinced of anything or not? How often we mistake a deception of the senses or an error of reason for conviction!

If all men gave the matter more thought they would realise that life is not worth worrying over too much.

It is neither dull nor gay when everything follows its appointed course.

Joy is forgotten, but sorrow never.

Sadness is a cruel taskmaster.

Conscience is truer than memory.

It is useless and senseless to pursue a happiness that is lost.

The story of a human soul, even the pettiest of souls, is no less interesting and instructive than the story of a nation, especially if it is the result of the observation of a mature mind and written without the vain desire to evoke compassion or wonder.

We nearly always forgive that which we understand.

Passions are nothing more than ideas at the first stage of their development; they belong to the heart's youth, and he is foolish who thinks they will stir him all his life. Many a placid river begins in roaring waterfalls, but not a single stream leaps and froths all the way to the sea.

He knows neither people nor their foibles, who all his life has been preoccupied with himself alone.

There are people whose hearts remain unaffected by their worldly-wise minds – unfortunate, poetic creatures. The wildest of rogues, the most experienced of flirts could not have easily taken them in, and yet they deceive themselves every day with the guilelessness of a child.

Fantastic love for an illusory ideal is a love that could not be more innocent and more harmful for a person with imagination.

Curiosity, it is said, has been the ruin of the human race, and till this day it is our chief, predominant passion, so much so that it can even explain all our other passions.

It sometimes happens that the mysteriousness of a thing gives our curiosity an extraordinary power over us and, obeying it, we go hurtling down, like a stone thrown from a mountain top by a strong hand, and although we see the abyss yawning below we cannot stop.

O vanity! Thou art the lever with which Archimedes hoped to raise the globe!

The ardour of noble aspirations is life's finest flower.

In spite of one's light hair, one's moustache and eye-brows are black is a sign of pedigree in a man as a black mane and tail are in a white horse.

Not to swing his arms is a sure sign of a certain reticence of character.

Have you ever had occasion to observe this peculiarity in people – one's eyes do not laugh when one does? It is a sign either of evil nature or deep constant sadness.

I have an inborn urge to contradict; my whole life has been a mere chain of sad and futile opposition to the dictates of either heart or reason. The presence of an enthusiast makes me as cold as a midwinter's day, and I believe frequent association with a listless phlegmatic would make me an impassioned dreamer.

One should never spurn a repentant sinner, for out of sheer desperation he may become doubly sinful.

Some people are really amusing even when desperate!

The pulse of a chill heart is even, the pistol shakes not in his fist.

A threadbare witticism! But apparently Russia is so constituted that however she may progress in every other respect, she is unable to get rid of absurdities like this.

With us the most fantastic of fairy tales has hardly a chance of escaping criticism as an attempt at libel!

Then how I long to shame their thoughtless gaiety here, to cast full in their teeth verse like an iron-forged spear... The bitter point in gall and malice steeping.

You who surround the throne in eager droves, you vandals who would have Freedom, Genius and Glory hung! You cloak your wickedness in legal mantle, before you truth and justice hold their tongue!.. But there's God's judgement, too, you minions of corruption! A judgement dread awaits that is not swayed by gold's injunction and every deed and thought of yours anticipates. Upon the judgement day in vain shall you endeavour to save your skins by slinging mud.

To be downcast in company is ridiculous and excessive gaiety is in bad taste.

Nothing good will come of those who forget old friends.

I am incapable of friendship. Between two friends one is always the slave of the other, though frequently neither will admit it; the slave I cannot be, and to dominate is an arduous task since one must employ deception as well; besides, I have the servants and the money!

I would rather do an enemy a good turn than a friend, because in the latter case it would amount to profiting by one's charity, whereas hatred grows in proportion to the generosity of the adversary.

That is just like human beings! They are all alike, even the kindest and wisest of them: though fully aware in advance of all the evil aspects of a deed, they aid and abet and even give their approbation to it when they see there is no other way out – and then they wash their hands of it and turn away with disapproval from him who dared assume the full burden of responsibility.

When I think of imminent and possible death, I think only of myself; some do not even do that. Friends, who will forget me tomorrow, or, worse still, who will weave God knows what fantastic yarns about me, and women, who in the embrace of another will laugh at me in order that he might not be jealous of the departed – what do I care for them?

Everything in the world's a pack of nonsense! Nature, fate, life itself all are but worthless pelf!

If things will not be better, they'll be worse, and then it's not so far from bad to good.

Caution is never amiss.

I make it a rule never to disclose my own thoughts, and am very glad when others divine them because that leaves me a loop-hole for denying them when necessary.

This is a good rule never to reject anything categorically and never to believe in anything blindly.

I love enemies, though not in the Christian way. They amuse me and quicken my pulse. To be always on one's guard, to catch every look and the significance of every word, to guess intentions, foil conspiracies, pretend to be deceived and then to overthrow with one blow the whole vast edifice of artifices and designs raised with so much effort – that is what I call life.

A queer thing, the human heart, and a woman's heart in particular!

Respect has its limits, love has none.

What would all the aspirations and all the labours of humankind be without love!

Love, like fire, dies out without fuel. Perhaps jealousy will succeed where pleadings have failed.

We frequently deceive ourselves when we think that a woman loves us for our physical or moral qualities; true, they prepare the ground, dispose her heart to receive the sacred flame, but nevertheless it is the first contact that decides the issue.

It is unlikely that any young man (a man of the world accustomed to indulging his vanities, of course), who, having met a woman who attracted his idle fancy, would not be unpleasantly impressed upon seeing her favour another man no less a stranger than he.

Only the love we read in a woman's eyes is non-committal whereas words...

Women must be given credit for possessing an instinct for spiritual beauty.

Compassion is an emotion which all women so easily yield to.

Two lovers' conversation makes no sense on paper, it cannot be repeated or even remembered, for the import of words is substituted and enriched by that of sounds, just as in Italian opera.

Ever since poets began to write and women to read them (for which they must be heartily thanked), the latter have been called angels so often that in the simplicity of their hearts they have actually come to believe in this compliment, forgetting that for money the very same poets exalted Nero as a demigod.

In women as in horses thoroughbred is a great thing. It is betrayed mainly by the walk and by the hands and feet, and particularly indicative is the nose.

The love of a barbarian girl is little better than that of a well-born lady; the ignorance and simplicity of the one are as boring as the coquetry of the other.

The restless craving for love torments us in the early years of our youth and casts us from one woman to another until we meet one who cannot endure us; this is the beginning of our constancy – the true unending passion that may mathematically be represented by a line extending from a point into space, the secret of whose endlessness consists merely in the impossibility of attaining the goal, that is, the end.

I must admit that I do not care for women with a mind of their own – it does not suit them!

O women, women! Who really does understand them? Their smiles disavow their glances, their words promise and beguile, but the tone of their voice repulses. They either divine in a flash your innermost thought or they do not grasp the most obvious hint.

Nothing is more paradoxical than the feminine mind. It is hard to convince women of anything, they must be brought to a point where they will convince themselves. The method of adducing the evidence with which they annihilate their prejudices is highly original, and to come to know their dialectics one must rid the mind of all the academic rules of logic.

Ah, gifts! What wouldn't a woman do for a bit of coloured rag!

Women love only the men they don't know.

What would not a woman do to hurt a rival! I recall a woman who loved me simply because I was in love with another.

All's clear to jealousy, but there's no proof.

If a man has already passed that period of spiritual life when people seek happiness alone and when the heart must need love someone passionately; now he only wants to be loved, and then only by very few. As a matter of fact, he believes one constant attachment would suffice for him – a wretched sentimental habit!

And yet to possess a young soul that has barely burgeoned out is a source of unfathomable delight. It is like a flower whose richest perfume goes out to meet the first ray of the sun; one must pluck it at that very moment and after inhaling its perfume to one's heart's content cast it away on the chance that someone will pick it up.

If passion is no longer capable of robbing one of one's sanity and if a man senses in himself that insatiable avidity that devours everything in its path, this man regards the sufferings and joys of others merely in relation to himself, as food to sustain his spiritual strength.

There is a malicious but indomitable impulse to annihilate the blissful illusions of a fellow man in order to have the petty satisfaction of telling him when in desperation he appeals to us: "My friend, the same thing happened to me! Yet as you see, I dine, sup and sleep well, and, I hope, will be able to die without any fuss or tears!"

Ambition is nothing but lust for power.

If one's ambition is crushed by circumstances, it manifests itself in new form, for ambition is nothing but lust for power, and our greatest pleasure we derive from subordinating everything around us to our will. Is it not both the first token of power and its supreme triumph to inspire in others the emotions of love, devotion and fear?

Is it not the sweetest fare for our vanity to be the cause of pain or joy for someone without the least claim thereto?

And what is happiness? Pride gratified. Could I consider myself better and more powerful than anyone else in the world, I should be happy; were everybody to love me, I should find in myself unending well-springs of love.

I prefer to doubt everything; such a disposition does not preclude a resolute character; on the contrary, as far as I am concerned, I always advance more boldly when I do not know what is awaiting me. After all, nothing worse than death can happen – and death you cannot escape!

Ideas are organic entities: their very birth imparts them form, and this form is action. He in whose brain the most ideas are born is more active than others, and because of this a genius shackled to an office desk must either die or lose his mind, just as a man of powerful physique who leads a quiet, sedentary life dies of an apoplectic stroke.

Without fools the world would be very boring.

Two intelligent people know in advance that everything can be argued about endlessly, and hence do not argue; they know nearly all of each other's innermost thoughts; a single word tells them a whole story, and they see the kernel of each of their sentiments through a triple husk. Sad things strike them as funny, funny things as sad, and generally speaking, if you want to know, they are rather indifferent to everything except themselves.

There can be no exchange of emotions and ideas between two intelligent people; they know all they want to know about each other and do not wish to know more. That leaves only one thing to talk about: the latest news.

Clever people prefer a listener to a talker.

To speak about convictions is useless. All convictions are nothing else as philosophical and metaphysical turn. About what convictions one has properly to speak? As for me, I am convinced of only one thing – that some fine day sooner or later I shall die. And if you have another conviction besides, which is that one exceedingly foul night you had the misfortune to be born, then you are better off than I.

To aspire to reform human vices would be too great ambition for the author of a book. May God preserve him from such folly!

Suffice it that the disease has been diagnosed; how to cure it the Lord alone knows!

People have been fed enough sweetmeats to upset their stomachs; now bitter remedies, acid truths, are needed.

The foreword is at once the first and the last thing in any book; it serves either to explain the purpose of the work or to justify the author before his critics. Ordinarily, however, readers are concerned with neither the moral, nor the journalistic attacks on the author; hence they do not read forewords.

The public is like the provincial who overhearing a conversation between two diplomats belonging to hostile courts carries off the conviction that each is deceiving his government for the sake of a tender mutual friendship.

There is a proper way to do everything. Many things are not said, but guessed.

The public is still so immature and simple hearted that it does not understand a fable unless it finds the moral at the end. It fails to grasp a joke or sense an irony; it has simply not been brought up properly.

Obvious invective has no place in respectable society and respectable books. The contemporary enlightenment has devised a sharper, almost invisible but nevertheless deadly weapon, which under the guise of flattery deals a true, unparriable blow.

A word born of lightning, drowned by the world's noises, will never be answered and stays oddly voiceless.

Thoughts radiating force are like a thread on which words are strung like pearls.

The sober common sense forgives evil wherever it feels it to be necessary, or impossible to eradicate.

To bring up children is the hardest thing of all. You think: ha, now it is over! Nothing of the sort: it is only beginning.

Striking is the ability of the Russian to reconcile himself to the customs of the peoples among whom he happens to live.

The Russians are not accustomed to put their faith in inscriptions.

A bad pun is no consolation to a Russian.

Evil begets evil; one's first suffering awakens a realisation of the pleasure of tormenting another. The idea of evil cannot take root in the mind of man without his desiring to apply it in practice.

Disillusionment, having begun like all vogues in the upper strata of society, had descended to the lower which wear it threadbare, and now those who are really bored the most endeavour to conceal that misfortune as if it were a vice.

In order to abstain from drink the man naturally tries to reassure himself that all misfortunes in the world are caused by intemperance.

Old age deceptive is betimes: it's like a moss-grown cask that frothing wine contains.

It is sad to see a young man's finest hopes and dreams shattered, to see him lose the rosy illusions with which he viewed man's deeds and emotions, although there is still hope that he may exchange the old delusions for new ones no less transitory but also no less sweet. But what is there to exchange them for at an old age? Without wishing it, the heart would harden and the soul wither.

Frequently the face of a person who is to die in a few hours' time bears some strange mark of his inevitable fate which a practiced eye can scarcely fail to detect.

I am greatly prejudiced against all the blind, squint-eyed, deaf, dumb, legless, armless, hunchbacked and so on. I have observed that there is always some strange relationship between the external appearance of a man and his soul, as if with the loss of a limb the soul too lost some faculty of feeling.

As we drift farther away from the conventions of society and draw closer to nature we willy-nilly become children again; the soul is unburdened of whatever it has acquired and it becomes what it once was and what it will surely be again.

Simple hearts feel the beauty and majesty of nature a hundred times more keenly than do we, rapturous tellers of stories spoken or written.

Many a placid river begins in roaring waterfalls, but not a single stream leaps and froths all the way to the sea. Frequently this placidity is a symptom of great though latent force.

The fullness and depth of emotions and thought precludes furious impulses, for the soul in its suffering or rejoicing is fully alive to what is taking place and conscious that so it must be; it knows that were there no tempests the constant heat of the sun would shrivel it; it is imbued with its own life, fostering and chastising itself as a mother her beloved child. Only in this state of supreme self-cognition can a man appreciate the divine judgement.

If there is such a thing as predestination, why have we been given will and reason? Why are we held accountable for our actions?

It is an amusing thing to think that there once were sages who believed the heavenly bodies have a share in our wretched squabbles over a bit of territory or some other imaginary rights. Yet these lamps, which they thought had been lighted only to illuminate their battles and triumphs, still burn with undiminished brilliance, while their passions and hopes have long since died out together with them like a campfire left burning on the fringe of a forest by a careless wayfarer. But what strength of will they drew from the certainty that all the heavens with their numberless inhabitants looked down on them with constant though mute sympathy! Whereas we, their wretched descendants, who roam the earth without convictions or pride, without joys or fear other than the nameless dread that constricts the heart at the thought of the inevitable end, we are no

longer capable of great sacrifices either for the good of mankind or even for our personal happiness since we know that happiness is impossible; and we pass indifferently from one doubt to another just as our forebears floundered from one delusion to another, without the hopes they had and without even that vague but potent sense of joy the soul derives from any struggle with man or destiny.

Great works of art and high, poetic dreaming wake in our minds no sweet, responsive thrill and avidly we hoard the dregs of feeling, a miser's wasted talent – buried still.

And casual all alike our loves and hatreds, we make no sacrifice to love or ire. The coldness in our souls holds nothings sacred, yet in our blood seethes fire.

Is it worth the trouble to live after all? And yet you go on living – out of curiosity, in expectation of something new... How ludicrous and how vexatious!

Why did you hope? To want something and to strive for it, that I can understand, but whoever hopes?

I fear not death, oh, no; I fear to disappear without a trace.

I await no boons of fate, regretting not the past, for that is buried deep. Ah, to find true freedom, true forgetting in the calm of everlasting sleep! Yet I dread the cold and clammy fingers and the leaden, icy sleep of death. Would that life within me dormant lingered and I felt its warm and balmy breath; would that love's own voice, my ear caressing, night and day sang dulcet song to me, and an ancient oak, my slumber blessing, swayed above my head eternally.

Life is eternity, and death a mere instant.

Anything that begins so strangely must end in the same way.

There are people who are predestined to have all sorts of odd things happen to them.

Farewell, farewell, my unwashed Russia, bleak land of lords and slaves! Farewell, you, sky-blue coats, and you, my people, who do their bidding all too well!

Ah, well! If I must die, I must! The world will lose little, and I am weary enough of it all. I am like a man who yawns at a ball and does not go home to sleep only because his carriage has not come. But the carriage is here – good-bye!

* * *

M. I. L e r m o n t o f f

**SENTENCIAS, MÁXIMAS Y
REFLECTIONES**

Nuestro espíritu se recrea ese deleite, no por incierto menos intenso, en toda lucha contra los hombres o contra el destino.

Allí donde se canta, se vive feliz.

Ya estáis viendo las funestas consecuencias que a veces acarrea un suceso de poca importancia.

En su primera juventud, el hombre puede ser un soñador; gusta de acariciar alternativamente las imágenes, ya lúgubres, ya radiantes, que le ofrece su inquieta y ávida imaginación. Pero, ¿qué vendrá a sacar? Sólo cansancio, como después de una batalla nocturna contra una visión fantasmagórica, y un recuerdo desvaído, lleno de pesares.

¿No hay muchos que en los albores de su vida aspiran a terminarla como Alejandro Magno o lord Byron, y, sin embargo, no pasan de consejeros titulares?

¿Para qué vive el hombre? ¿Con qué fin nació? Pero ese fin debe de existir, y es probable que se predestinase a algo elevado, porque en su alma alientan fuerzas incommensurables. Pero, no adivinando su vocación, el hombre corre tras el señuelo de pasiones ingratas y vacías; saldrá de su fragua duro y frío, como el hierro, mas perderá para siempre el fuego de los nobles afanes, la flor más galana de la vida.

Quien debe oírlo, lo oye; y quien no debe, no lo entiende.

Vio usted mucho, pero sabe poco; y lo que sepa, guárdelo bajo llave.

Ni la gloria, ni la felicidad dependían de las ciencias, ni mucho menos, ya que las personas más dichosas son ignorantes, y la gloria consiste en la buena fortuna, cuya consecución no requiere más que habilidad.

Aunque, ¿quién sabe con certeza si está convencido o no de algo? ¡Con cuánta frecuencia tomamos por convicción un engaño de nuestros sentidos o un error de nuestra mente!

Si todos los hombres razonaran más a menudo, se convencerían de que la vida no merece que uno se preocupe tanto de ella.

Las alegrías se olvidan, las penas jamás.

Es inútil y disparatado perseguir la felicidad perdida.

Yo odio a los hombres para no despreciarlos, pues, de otro modo, la vida sería una farsa desagradable por demás.

La historia de un alma humana, aunque se trate de la más mezquina, resulta, tal vez, más curiosa y útil que la historia de un pueblo entero, máxime si es el fruto de una mente madura que se observa a sí misma, y si se ha escrito sin el vanidoso deseo de despertar compasión o asombro.

Casi siempre disculpamos lo que comprendemos.

Las pasiones no pasan de ser ideas en su primer desarrollo; son atributo de los corazones jóvenes, y es tonto el que piense que van a inquietarle toda la vida. Muchos ríos apacibles nacen en tumultuosas cascadas, pero ninguno bulle y espúmea hasta fundirse con el mar.

No conoce a la gente ni los lados flacos de ésta, quien su vida entera ha sido un culto perenne de sí mismo.

!Oh, amor propio! ¡Tú eres la palanca con que Arquímedes quería levantar el globo terráqueo!

El fuego de los nobles afanes es la flor más galana de la vida.

Si, a pesar de lo claro de cabello, el bigote y las cejas son negros, es síntoma de raza en el hombre, como la crin y la cola negra en el caballo blanco.

Andar sin bracear es seguro indicio de un carácter algo reservado.

¿Nunca habéis tenido ocasión de observar semejante fenómeno en algunas personas: los ojos no se reían cuando reía el hombre? Es indicio de mal carácter o de profunda y constante tristeza.

Poseo un innato afán de contradecir; mi existencia toda no ha sido más que una cadena de tristes y desafortunadas contradicciones al corazón o a la inteligencia. Ante un entusiasta, se apodera de mí un frío glacial, y

creo que si me relacionase a menudo con un flemático melancólico me convertiría en un soñador ardiente.

Jamás debe rechazarse a un delincuente arrepentido; la desesperación puede conducirle a cosas peores.

¡Hay personas en las cuales hasta la desesperación es cómica!

¡Vieja y deplorable broma! Pero, por lo que parece, Rusia es así: todo en ella se renueva, a excepción de semejantes absurdos.

¡El más mágico de todos los cuentos quizás no se libraría en nuestro país del reproche de ser un atentado a la personalidad!

La tristeza en sociedad es ridícula, y una alegría excesiva, incorrecta.

No ha de esperarse gran cosa del que olvida a los viejos amigos.

Yo soy refractario a la amistad. De dos amigos, uno es siempre esclavo del otro, aunque lo más frecuente es que ninguno de ellos se dé cuenta. Esclavo no puede ser; y en el caso dado, ordenar es un trabajo fatigoso, ya que se requiere compaginarlo con el engaño. ¡Y además, tengo lacayos y dinero!

Antes haría un favor a un enemigo que a un amigo, porque esto último equivaldría a vender su benevolencia, mientras que el odio no haría más que aumentar en proporción a la magnanimidad del adversario.

¡Así son los hombres, incluso los más bondadosos e inteligentes! Todos iguales: conociendo de antemano los aspectos negativos de un acto, ayudan, aconsejan y hasta lo aprueban, al ver que no hay otro recurso; pero luego se lavan las manos y se apartan con indignación del que ha tenido la audacia de afrontar la responsabilidad.

Pensando en la muerte, próxima y posible, pienso solamente en mí mismo; otros no hacen ni siquiera eso. Los amigos me olvidarán mañana o, peor aún, contarán de mí Dios sabe qué infundios. Las mujeres, abrazando a otro, se reirán de mí, para no despertar celos hacia el difunto. ¡El señor los perdone!

¡Nada tiene importancia en este mundo! ¡La naturaleza es tonta, es bobo el destino, y la vida no vale un comino!

Si no viene lo bueno, vendrá lo malo, y de lo malo a lo bueno no hay tanto trecho.

La precaución nunca estorba.

Yo jamás descubro mis secretos por mí mismo, y me gusta una barbaridad que traten de adivinarlos, porque en ese caso, me queda siempre el recurso de negar.

Es una buena norma no rechazar nada de plano ni confiar ciegamente en cosa alguna.

Quiero a mis enemigos, aunque no a la manera cristiana: me distraen y me hacen hervir la sangre. Estar siempre alerta, captar cada mirada, adivinar la significación de cada palabra, descubrir intenciones, frustrar complots, fingirse embaucado y, de repente, derribar de un solo revés el enorme y complejo tinglado de astucias y designios: eso es lo que yo llamo vida.

¡Extraña cosa el corazón humano, en general, y el femenino en particular!

El amor, como el fuego, se extingue si no lo alimentan. Tal vez los celos consigan lo que los ruegos no han logrado.

A menudo nos equivocamos de medio a medio pensando que las mujeres nos quieren por nuestras cualidades físicas o morales; éstas, ni que decir tiene, preparan y predisponen su corazón a comulgar con el fuego sagrado, mas, no obstante, el primer contacto es lo decisivo.

Dudo mucho que exista un joven, acostumbrado a vivir en el gran mundo y a halagar su amor propio, que no se sienta desagradablemente sorprendido ante el hecho de que una mujer bonita, digna de su ociosa atención, dé preferencia a otro hombre, también desconocido para ella.

El amor que leemos en los ojos de la mujer no la compromete, mientras que las palabras...

Hagamos justicia a las mujeres: poseen el instinto de la belleza moral.

La compasión es sentimiento al que tan fácilmente se rinden las mujeres.

Las conversaciones de dos amantes no tienen sentido en el papel, es imposible reproducirlas y ni siquiera recordar: la significación de los sonidos sustituye y completa el alcance de las palabras, como en la ópera italiana.

Desde que los poetas escriben y las mujeres los leen (cosa que se les agradece profundamente), se las ha llamado ángeles tantas veces, que ellas, en su simplicidad, han creído de veros lo que no pasa de ser un halago, olvidando que esos mismos poetas, por dinero, dieron a Nerón el calificativo de semidiós.

En las mujeres, como en los caballos, la raza es un gran aliciente. La raza suele revelarse, en la mayoría de los casos, en los andares, en las manos y en los pies, la nariz, sobre todo, es de suma importancia.

El amor de una salvaje es un poco mejor que el de una dama distinguida; la ignorancia y la simplicidad de la una cansan tanto como la coquetería de la otra.

La inquietante necesidad de amor nos atormenta en los primeros años de la juventud, llevándonos de una mujer a otra, hasta que, al fin, tropezamos con una que nos detesta. Entonces comenzamos a ser constantes, nace la genuina, la infinita pasión, que podríamos expresar matemáticamente con una línea proyectada desde un punto al espacio; el secreto de ese infinito radica tan sólo en la imposibilidad de alcanzar el objetivo, es decir, el fin.

Yo desprecio a las mujeres para no amarlas, pues, de otro modo, la vida sería un melodrama demasiado ridículo.

Debo confesar, que, en efecto, no me gustan las mujeres de carácter: ¿acaso eso es propio de ellas?

¡Mujeres, mujeres! ¡Quién las puede comprender! Sus sonrisas contradicen sus miradas, sus palabras prometen y seducen, y el sonido de

su voz repele. Tan pronto interpretan y aciertan al instante el pensamiento más recóndito como no entienden las más claras insinuaciones.

No hay nada de más paradójico que la inteligencia de las mujeres. Es difícil convencerlas de nada, y lo procedente es inducir las a que se persuadan por sí mismas. El razonamiento de que se valen para vencer sus prejuicios es por demás original; quien quiera aprender dialéctica femenina ha de empezar por desterrar de su cerebro todos los preceptos escolares de la lógica.

¡Ah, los regalos! ¿Qué no hará una mujer por un trapo de color?

Las mujeres aman solamente a los que no conocen.

¿Qué no hará una mujer con tal de zaherir a su rival? Recuerdo a una que se enamoró de mí, porque yo quería a otra.

Si el hombre ya ha dejado atrás la época en que el espíritu busca sólo la felicidad y en que el corazón se siente impelido a amar intensa y apasionadamente; ahora no desea más que ser amado, y no de muchas; hasta cree que le bastaría un solo cariño constante: ¡lamentable costumbre del corazón!

¡Y, no obstante, qué inmenso placer el de adueñarse de un alma joven, apenas abierta! Es como una flor que emana su más delicada fragancia a la primera caricia del sol. Hay que cortarla en ese instante, y, después de aspirada hasta la saciedad, arrojarla en el camino: ¡quizás alguien la recoja!

Quien no es capaz de cometer locuras bajo el influjo de las pasiones y quien siente en sí una insaciable avidez que devora todo cuanto halla al paso, sólo ve los sufrimientos y las alegrías de los demás en la parte que le atañen: como un alimento que sustenta sus energías espirituales.

Hay un abyecto, pero invencible sentimiento, que nos incita a destruir las dulces ilusiones del prójimo, para que luego, cuando, desesperado, nos pregunte qué es lo que debe creer, darnos el mezquino placer de decirle: “¡Amigo mío, lo mismo me ha ocurrido a mí! Y, sin embargo, ya ves: almuerzo, ceno y duermo sosegado; y aun confío en que sabré morir sin gritos ni lágrimas!”

Ambición equivale a ansia de poderío.

La ambición ahogada por las circunstancias se revela en otra forma, ya que ambición equivale a ansia de poderío, y no conoce deleite mayor que supeditar a su voluntad cuanto le rodea. Inspirar un sentimiento de amor, de fidelidad y de temor, ¿no es, acaso, el primer indicio y el máximo triunfo del poder?

Ser para alguien motivo de peno o de alegría, sin que le asista a uno el menor derecho, ¿no es el supremo aliciente para nuestro orgullo?

¿Y qué es la felicidad? Orgullo satisfecho. Si me considerase el mejor y el más poderoso del mundo, sería feliz; si todos me amasen, encontraría en mi corazón fuentes inagotables de amor.

Me gusta dudar de todo: lo cual no excluye tener un carácter decidido; por el contrario, en lo que a mí se refiere, siempre avanzo con mayor valentía cuando no sé lo que me espera. Nada puede ocurrir peor que la muerte, ¡y la muerte es inevitable!

Las ideas son creaciones orgánicas: cuando nacen, adquieren forma, y esta forma es acción. El que más ideas ha concebido es más activo que los restantes; de ahí que un genio encadenado a una mesa oficinesca moriría o se volvería loco, lo mismo que un hombre de constitución vigorosa, si arrastra una vida sedentaria y morigerada, muere, víctima de apoplejía.

Si no hubiera tontos, el mundo sería muy aburrido.

Dos personas inteligentes saben de antemano que de todo se puede discutir hasta el infinito; y por eso no discuten; cada uno conoce casi todos los recónditos pensamientos del otro; una palabra los revela una historia completa; ven la médula de cada uno de los suyos sentimientos a través de una triple envoltura. Lo triste los hace reír, lo cómico los entristece y, a decir verdad, son bastante indiferentes a todo, salvo a las suyas propias personas.

No cabe entre dos personas inteligentes intercambio alguno de sentimientos o de ideas; saben el uno del otro cuanto quieren saber, y no desean más; los queda un recurso: contar novedades.

Personas inteligentes prefieren los oyentes a los narradores.

Hablar de convicciones es inútil. Todas las convicciones no son que tonterías filosóficas y metafísicas. ¿De qué convicciones se puede propio hablar? Por lo que a mí se refiere, creo sólo en una cosa – en que tarde o temprano, me moriré una espléndida mañana. Y si, a más de ese convencimiento, Usted tiene otro: el de que una tarde repugnantísima tuve la desgracia de nacer, Usted es más rico que mi.

Es una ambiciosa ilusión para el autor de un libro de corregir los vicios humanos. ¡Dios lo libre de tamaña ignorancia!

Limitamos a indicar la enfermedad; pero, cómo curarla, ¡eso sólo Dios lo sabe!

Se ha prodigado en exceso las golosinas; por eso la gente tiene estropeado el estómago: se precisan medicamentos amargos, verdades acerbadas.

El prólogo es, a un tiempo, lo primero y lo último de todo libro, pues o explica el objetivo de la obra, o bien la justifica y responde a los críticos. Pero el propósito moral y las diatribas periodísticas suelen tener sin cuidado a los lectores. De ahí que no lean los prólogos.

El público se parece al provinciano que, oyendo una conversación entre dos diplomáticos, pertenecientes a cortes hostiles, quedara convencido de que ambos engañaban a sus gobiernos en aras de una mutua y tiernísima amistad.

¡Todo requiere su manera! Muchas cosas no se dicen, pero se adivinan.

El público es aún tan joven e ingenuo, que no comprende la fábula si no encuentra al final la moraleja. No adivina la broma ni percibe la ironía; es, sencillamente, poco culto.

En una sociedad correcta y en un libro correcto no caben invectivas desembozadas. La cultura moderna ha ideado un arma más punzante, casi invisible, aunque no por ello menos mortífera, que, amparándose en el ropaje de la adulación, asesta un golpe certero y fatal.

El claro sentido común perdona el mal allí donde ve que es inevitable o imposible de extirpar.

Sorprendente está la capacidad de los rusos para adaptarse a los hábitos de los pueblos con que conviven.

Los rusos no tienen por costumbre creer en las inscripciones.

Un mal juego de palabras no acierta a consolar a un ruso.

El mal engendra el mal; el primer padecimiento insinúa el placer de atormentar a otro. La idea del mal no puede acudir a la mente del hombre sin implicar el deseo de ponerla en práctica.

La desilusión, como tantas otras modas, comenzando por las capas superiores de la sociedad, ha descendido a las inferiores, las cuales las llevan de segunda mano, y en la actualidad, los que más se aburren, realmente, tratan de ocultar esa desgracia como un vicio.

Para abstenerse del vino, el hombre trata, evidentemente, de convencerse de que todas las calamidades del mundo proceden de la embriaguez.

Causa tristeza ver a un joven perder sus mejores esperanzas e ilusiones al descorrerse el cendal rosado a través de cual contemplaba las obras y los sentimientos humanos; pero a un joven le queda el recurso de sustituir los antiguos desvaríos por otros tan pasajeros como aquellos, si bien no menos dulces... Ahora bien: ¿qué sustitución cabe a la edad avanzada? Aunque, no quiera uno, se endurece el corazón y se enfría el alma.

El rostro del hombre destinado a morir en breves horas, suele llevar impreso el extraño sello del sino ineluctable, hasta el punto de que un ojo experto se equivoca rara vez.

Confieso mi aprensión contra todos los ciegos, tuertos, sordos, mudos, cojos, mancos, jorobados, etc. He advertido que siempre existe una extraña relación entre la apariencia externa y el alma del individuo, como si, cercenado un miembro del cuerpo, el espíritu perdiera alguna de sus facultades.

Al alejarnos de los convencionalismos sociales y acercarnos a la naturaleza, nos hacemos involuntariamente niños: todo lo adquirido se desprende del alma y el alma vuelve a ser tal como fue antaño y come probablemente volverá a ser.

En los corazones sencillos el sentimiento de la hermosura y majestad de la naturaleza es más vigoroso, cientos de veces más vivo que en nosotros, los que narramos, admirados, valiéndonos de la palabra y del papel.

Muchos ríos apacibles nacen en tumultuosas cascadas, pero ninguno bulle y espúmea hasta fundirse con el mar. No obstante, esta serenidad suele ser signo de una fuerza inmensa, aunque oculta.

La plenitud y la profundidad de los sentimientos y las ideas no toleran impulsos arrebatados. El alma, al gozar y al sufrir, se rinde a sí misma estricta cuenta y se persuade de que eso es lo lícito; sabe que, a no ser por las tormentas, el perenne ardor del sol la secaría; se impregna de su propia vida, se mimosa y se castiga como a un hijo predilecto. Sólo en ese estado supremo de auto-conocimiento el hombre es capaz de comprender la justicia divina.

Y si, efectivamente, existe el sino ¿para qué, entonces, se nos ha concedido la voluntad y la razón? ¿por qué hemos de rendir cuenta de nuestros actos?

Me da risa recordar que hubo antaño sapientísimos varones que pensaban que los astros celestes intervienen en nuestras nimias disputas por un trozo de terreno o por cualquier derecho imaginario. Y, ya lo vemos: estas mariposas, que, según ellos, ardían con el solo fin de iluminar sus contiendas y sus triunfos, siguen resplandeciendo con el mismo fulgor, mientras que sus pasiones y esperanzas se extinguieron al mismo tiempo que ellos, como una pequeña hoguera encendida en la linde de un bosque por un peregrino despreocupado. Y, no obstante, ¡qué fuerza de voluntad les infundía la certeza de que el cielo entero, con sus infinitos moradores, los contemplaba con invariable, aunque muda simpatía!.. Nosotros, sus míseros descendientes, que vamos por la tierra sin convicciones ni orgullo, sin placer ni temor (si no contamos la involuntaria angustia que nos oprime el corazón al pensar en el fin inevitable), no somos ya capaces de grandes sacrificios, ni en bien de la humanidad ni aun en pro de nuestra propia dicha, porque sabemos que ésta es imposible. E, indiferentes, pasamos de una duda a otra, igual que nuestros antepasados iban de yerro en yerro, con la deferencia de que no tenemos las esperanzas que abrigaban ellos ni tan siquiera ese deleite, no por incierto menos intenso, con que se recrea nuestro espíritu en toda lucha contra los hombres o contra el destino.

¿Vale la pena vivir? Pero sigue uno viviendo por curiosidad, en espera de algo nuevo... ¡Da risa y rabia!

¿Para qué has concebido esperanzas? Desear y tratar de conseguir, eso lo comprendo, pero ¿a quién se le ocurre hacerse ilusiones?

Lo que empieza de un modo extraordinario, debe terminar también así.

De verdad, hay personas que parecen destinadas a que les ocurran cosas extraordinarias.

¡Bah! ¡Si viene la muerte, que venga! No perderá gran cosa el mundo; además, todo esto me aburre ya bastante. Soy como el que bosteza en el baile, y si no se va a dormir es tan sólo porque no ha llegado aún su carruaje. Pero el carruaje espera ya en la puerta... ¡Adiós!

* * *

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление (П.А. Гелева)	5
О месте дуэли Лермонтова (Н.И. Ушаков)	7
Русская часть	9
Французская часть	87
Немецкая часть	103
Итальянская часть	117
Английская часть	131
Испанская часть	147